

В. ПИЗАНИ

ЭТИМОЛОГИЯ

VITTORE PISANI
L'ETIMOLOGIA
STORIA — QUESTIONI — METODO

MILANO, 1947

В. ПИЗАНИ

ЭТИМОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ — ПРОБЛЕМЫ — МЕТОД

Перевод с итальянского
Д Э РОЗЕНТАЛЯ

Под редакцией и с предисловием
В. И. АБАЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, 1956

А Н Н О Т А Ц И Я

Книга известного итальянского языковеда В. Пизани „Этимология“ представляет собой исторический очерк возникновения и развития этимологии, отмечая вместе с тем перспективы и метод этой науки. Содержит весьма разнообразный иллюстративный материал.

Книга представляет безусловный интерес для лингвистов всех специальностей и литератороведов.

Редакция литературы по вопросам филологии
Заведующий редакцией *В. А. ЗВЕГИНЦЕВ*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этимология — наука о происхождении и истории слов — является одной из важнейших и интереснейших областей исторического языкознания. Слова нашей речи отражают объективную действительность, прошедшую через общественное сознание, и процессы и изменения, которые мы находим в истории слов, говорят нам о том, как данная среда осваивала объективную действительность на протяжении своего исторического существования.

История слов теснейшим образом связана с историей народа, и поэтому этимологические исследования приобретают первостепенное значение при решении важных исторических и этногенетических вопросов.

Слова легко передаются от одних народов к другим, и по таким заимствованиям мы можем судить о сношениях и культурных связях между народами, притом в такие отдаленные эпохи, от которых до нас не дошло никаких других исторических свидетельств и памятников.

Мало того. История слов, их возникновения и развития, является вместе с тем историей многовековых усилий человеческой мысли осознать явления природы и общественной жизни и овладеть ими. Таким образом, этимологические исследования имеют прямое отношение к двум краеугольным проблемам языкознания: к проблеме „язык и история“ и к проблеме „язык и мышление“.

В советском языкознании этимологические исследования не заняли пока, к сожалению, подобающего места. Это отставание особенно дает себя чувствовать, если учесть, как многоязычна наша страна и какой огромный исторический интерес представляют бытующие в ней языки. Перед советскими языковедами стоит задача развернуть в ближайшие годы этимологические работы круп-

ного масштаба и приступить к составлению этимологических словарей языков Советского Союза. Чтобы эта работа пошла по правильному руслу, нужно вооружить наших этимологов знанием принципов этимологического исследования, отвечающих современному состоянию этой области языкознания.

Одной из последних попыток обобщить и систематически изложить эти принципы и является предлагаемая работа крупного итальянского лингвиста В. Пизани. Автор дает очерк истории этимологической науки, определяет, в основном правильно, ее задачи и методы, останавливается отдельно на фонетических, морфологических и семантических критериях этимологических разъяснений. Пизани не скрывает тех трудностей и опасностей, которые подстерегают этимолога; но в отличие от некоторых языковедов, которые из-за этих трудностей склонны впадать в неверие и агностицизм, он в общем оптимистически смотрит на возможности и перспективы этимологической науки. К достоинствам его работы относится обильный и разнообразный иллюстративный материал.

Хочется выразить надежду, что появление русского перевода книги В. Пизани стимулирует интерес и вкус к этимологическим изысканиям у наших языковедов и будет способствовать оживлению этой несколько заброшенной у нас дисциплины.

B. Абаев.

I

ИСТОРИЯ И ПОНЯТИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Каждый человек, особенно в годы детства и юности, когда он не владеет еще многими языковыми элементами, используемыми взрослыми людьми, нередко сталкивается, слушая речь других или читая что-либо, со словами, которых он не знает, потому что не слышал их раньше от других или не создавал сам. Мы замечаем подобные явления только в тех случаях, когда слово выходит за пределы возможного понимания его значения непосредственно на основе уже знакомых слов, и тогда мы вынуждены выяснить это значение у тех, кто употребил данное слово, или искать в словаре и т. д., если только смысл его не вытекает из контекста. Например, человек, незнакомый со словом *bottaio* „бочар, бондарь“, может, встретившись с ним впервые, уловить его значение, если ему уже известно *botte* „бочка“, а также те отношения, которые существуют между такими словами, как *vinaio* „продавец вина“, *lattaio* „продавец молока“, *libraio* „продавец книг“, с одной стороны, и *vino* „вино“, *latte* „молоко“, *libro* „книга“ — с другой; в этом случае он воспроизводит процесс создания слова, подобный тому, когда кто-либо, желая обозначить человека, делающего и продающего бочки, уже образовал слово *bottaio*, опираясь на *botte* и на элемент -*aio*, извлеченный им из слов, служащих для обозначения людей по аналогичной их деятельности. Если же словом, воспринимаемым впервые, является, например, *calzolaio* „сапожник“ или *trombaio* „водопроводчик“, то мы должны прибегнуть к другим средствам, чтобы выяснить его значение, потому что лат. *calceolarius*, обозначающее того, кто изготавлял и продавал башмаки (*calcei*), претерпело значительные фонетические изменения и, кроме того, башмак не назы-

вается теперь *calceus*, а *calza* „чулок“, о котором в первую очередь подумал бы тот, кто пожелал бы истолковать слово *calzolaio*, обозначает иной предмет; равным образом *tromba* „труба (музыкальный инструмент)“ утратило свое старое значение „труба (приспособление для подъема воды)“, по которому получило свое название *trombaio*.

Таким образом, мы видим, что в речи встречаются две категории слов: значение одних можно уяснить сразу, поскольку мы еще знаем те модели, по которым эти слова образуются; другие имеют традиционное значение, которое не может быть извлечено путем указанного процесса сопоставления. Первые, обозначая понятие, связывают его с некоторыми другими понятиями и дают по этому описание или оценку этого понятия; вторые вызывают в нашем сознании это понятие как безотносительное. Первый тип слов мы будем называть описательным, второй — номинативным.

Ко второму типу принадлежат прежде всего такие слова, как *calzolaio* и *trombaio*, которые в силу ряда причин, например фонетических изменений, исчезновения или изменения значения других слов, с которыми они первоначально были связаны, и т. д., отошли от первого типа. Сюда же относятся и заимствованные слова, т. е. непосредственно взятые из какого-либо иностранного языка, например *bar* „бар“; звукоподражательные слова типа „бац“, „трах“; наконец, искусственно созданные слова, например научные названия открытий, образованные по имени людей, сделавших данное открытие [*garnierite* „гарниерит (минерал)“, по имени Garnier]; слова специального коммерческого типа, используемые также в других областях, например в области политики, образованные по принципу звуковых и слоговых аббревиатур (*FIAT* = *Fabbrica Italiana di Automobili in Torino* „ФИАТ = Итальянский автомобильный завод в Турине“; *TETI* = *Telefonica Tirrena* „Телефонная служба в области Тиррена“; *USA* = *United States of America* „США = Соединенные Штаты Америки“; *ONU* = *Organizzazione Nazioni Unite* „ООН = Организация Объединенных наций“; этот способ словообразования широко используется в официальной советской терминологии), и т. д.

Прием, используемый для образования и уяснения слов описательного типа, нередко употребляется и для истолкования слов номинативного типа, частым следствием

чего является неправильное понимание значения слова, поскольку ошибочно устанавливаются отношения, не имеющие ничего общего с данными словами, или же видоизменяется форма слова в целях сближения его с предполагаемыми соответствиями. Так, слово *calamitas*, которое вначале обозначало бедствие вообще, часто воспринималось как обозначение неурожайного года, так как в составе этого слова ошибочно видели *calamus* „тростник, стебель“; и если рядом со словом *terremoto* „землетрясение“, развитием лат. *terræ motus*, существует форма *tremuoto*, то последняя обязана своим возникновением тем, кто предполагал здесь связь со словом *tremare* „дрожать, трястись“. Само собой разумеется, что в этом переосмыслении, связанном с народной этимологией (ср. гл. VII), ошибка обнаруживается только со стороны исторической; лингвистическое образование здесь вполне нормально, и тот факт, что ему следуют или не следуют говорящие и потому оно находит или не находит свое место среди элементов, используемых в определенном языковом коллективе, свидетельствует лишь о положительном или отрицательном отношении со стороны говорящих к вопросу о его приемлемости, но не оспаривает его законности.

Именно деятельность говорящего коллектива, направленная на истолкование обоих типов слов, и составляет предмет этимологической науки. Эта деятельность проявляется уже начиная с античных времен. Так, в „Ригведе“ (V, 2, 12) сказано, что Бессмертные дали *Agní* свое имя, потому что *ag्याह sám ajāti védaḥ* „он отнимает¹ богатство у врага“, где элемент *ag-* из *Agní* возводится, таким образом, к корню *aj-* глагола (в сослагательном наклонении настоящего времени) *ajāti*; в „Одиссее“ (τ 401 и сл.) имя Ὀδυσσεύς „Одиссей (букв.: сердитый)“ будто бы дано герою Итаки дедом Автоликом на следующем основании: πολλοῖσι γάρ ἐγώ γε ὁδυσσάμενος τόδ' ικάω ἀνδραῖοι γδὲ γυναιξὶ ἀνδρῶν χθόνα πουλυρότειραν „рассердившись на многих мужчин и женщин, я пришел в эту плодородную землю“².

Гераклит выводит θεός „бог“ из θεῖν „бежать, быстро передвигаться“, Геродот (II, 52), напротив, — из τίθημι

¹ Собственно, „чтобы отнял...“; речь идет о выражении пожелания, сопровождаемом этимологическим объяснением.

² Переводы греческих и латинских текстов в книге выполнены Б. Б. Ходорковской.

„кладу, делаю“, ὅτι κάθεμφ θέγετες τὰ πάυτα πράγματα, так как они (боги) „делают все как следует“. Демокрит производит γῆν „жить“ от ἀναπνοή, spiramina „дыхание“ (которое, как он полагал, находится у нас в голове), поскольку γένει в диалекте Кипра и, возможно, также в других местах означало „он дышит“. По Геродоту (I, 32), Солон, обращаясь к Крезу, говорил, что может называть его εὐτοχής „удачливый“, но не ὁβίος „счастливый“, так как в составе последнего слова выделяется βίος „жизнь“, и, вероятно, ὅλος „весь“, а ведь никто не может называть себя счастливым, пока не окончит благополучно свою жизнь. Можно было бы привести и много других примеров.

Не только случайные попытки, присущие любой эпохе, когда люди размышляют над средствами создания языка, но и применение способа интерпретации трудных слов античной поэзии, прежде всего гомеровской, уже с давних пор были, повидимому, обычным явлением в Греции (γλωσσογράφοι „филологи“), не говоря уже об использовании этого метода философами, в особенности софистами. Так, например, Платон написал диалог „Кратил“, который, каковы бы ни были намерения его автора, кладет начало языкоznанию, в первую очередь этимологии¹; последняя, имея своим истоком чистый эмпиризм, пытается в дальнейшем оформиться как наука. Афинский философ первый наметил рамки обсуждения, продолжавшегося в течение столетий, и определил цели и направление этимологических изысканий. Поэтому мы должны в первую очередь обратиться к „Кратилу“ и попытаться произвести анализ его текста, особенно тех частей, которые представляют собой основной и решающий вклад для последующей ориентации; при этом мы можем, за исключением тех случаев, когда они служат в качестве примеров, пренебречь фантастическими этимологиями, которые Платон не всегда убедительно излагает устами Сократа в ходе диалога.

* * *

Сократ был привлечен к участию в споре между философом, последователем Гераклита, Кратилом и Гермогеном, из которых первый утверждал, что у каждой вещи есть свое истинное имя (οὐόματος ὄρθητα), присущее ей

¹ Термин ετημολογία „этимология“, кажется, впервые был употреблен стонками.

по природе (*φύσει περιοῖσαν*) и одинаковое для греков и для варваров, тогда как слово, которым условно называют вещь, не является именем; так, имя Гермоген, „из рода Гермеса“, не является истинным именем его собеседника, даже если все его так называют. Гермоген, наоборот, утверждал, что ὁρθότης δυομάτου „истинность имен“ может быть установлена лишь на основе соглашения и с одобрения других людей; таким образом, имя, которое дается человеку, является его истинным именем, и если оно меняется, то новое имя становится не менее истинным (*ὁρύσσει*), чем первое, как это видно на примере с рабами. В этом заключался предмет спора: присуще ли вещи ее собственное имя, неизменное, прирожденное, изменения которого, мы допускаем ошибочное наименование ее, или же каждое употребленное людьми слово является результатом договоренности и не принадлежит по природе обозначаемой вещи.

Сократ в противовес известным теориям Протагора и Эвтидема считал, что вещам присущи их собственное бытие и сущность, независимые от нашего представления, и что поэтому обращаться с ними необходимо в соответствии с их природой, а не следуя нашей прихоти (например, существует определенный способ резать или жечь некоторые вещи, являющийся чем-то усвоенным, — *κατά τὴν ὁρθὴν δόξαν*, „согласноциальному взгляду“); отсюда он заключил, что необходимо называть все вещи так, как это присуще им по природе, а не так, как нам это кажется удобным. Средствами языка являются слова, с помощью которых мы сообщаем друг другу о вещах и различаем их сущность (*διδάσκομέν τι ἀλλήλους; καὶ τὰ πράγματα διακρίουμεν ή ἔχει!*). При этом слова как средство общения и распознавания должны употребляться правильно, и так как они передаются по традиции через *ύμος*, „закон, обычай“ — мы бы сказали, укрепляются в силу привычки, — то здесь должен явиться *οὐμοδέτης*, „законодатель“, которым, однако, не может быть первый встречный, но лишь *οὐματοιρύβης*, „создатель слов“, умеющий облечь в звуки и слоги название, присущее по природе каждой вещи, в соответствии с тем, что составляет ее имя (т. е. согласно идеи в платоновском смысле слова). И подобно тому, как всякий кузнец, многократно создающий одинаковый инструмент для тождественного употребления, хотя и не делает его во всех случаях из одного и того же

железа, но всегда изготавляет его точно, руководствуясь определенной идеей, так и слово является точным вне зависимости от того, выражено ли оно греческими или варварскими звуками. Следовательно, согласно Платону, существует своего рода естественный язык, по отношению к которому исторические языки, если они правильно организованы, представляют собой перевод в звуки, каждый раз различные. О созданных *μοδόθέτησ*'ом словах может судить диалектик („тот, кто умеет спрашивать и отвечать“), который и дает ему указания для правильного образования слов. Таким образом, Кратил прав, утверждая, что вещам присуще название в соответствии с их природой и что только тот является подлинным создателем слов, кто рассматривает имя как принадлежащее любой вещи по ее природе и может воплотить понятие в звуки и слоги.

Однако Гермоген не вполне убежден приведенными доводами и спрашивает, в чем заключается эта природная точность слов (*ἡ φύσις ὁρθότης τῶν δοκιμάτων*); вместе с ним этими исследованиями занимается и Сократ. Из двух имен маленького сына Гектора — *Ἀστιανάκτης*, „Астианакт“ и *Σκαμανδρίος*, „Скамандрий“, — несомненно, более точным является первое, как обозначающее „царь города“, который защищал отец Астианакта; приемлемо тут также и имя „*Εχτώρ*“, „Гектор“, являющееся синонимом слова „царь“ (Платон считает „*Εχτώρ*“ именем деятеля от *ἔχω* „держу, имею“). Таким образом, сын царя тоже будет называться „царь“, причем безразлично, какими звуками обозначается это слово. Так же несущественно здесь и количество звуков при условии, что сущность вещи, обозначенной именем, останется неприкосновенной; например, названия букв, за исключением *ε*, *υ*, *ο*, *ω*, образованы путем прибавления к представляемому ими звуку других звуков: *β-ῆτα* „б-эта“ и т. п., но это не препятствует видеть в них звук, который изображает буква. Звуки, добавленные к основным звукам, и даже вся форма слова (случай с *Ἀστιανάκτης* и „*Εχτώρ*“, где оба слова обозначают „царь“) являются как бы красками и запахами, добавленными к лекарствам; подобно тому как врач распознает лекарства в различных модификациях, так и тот, кто понимает слова, различает их значение, несмотря на произошедшие формальные изменения, основываясь на изложенном ранее принципе о том, что „можно изменять

слова при помощи слогов“ (*ποικίλειν δὲ ἔστι ταῖς συλλαβαῖς*; в другом месте, стр. 404 D и 412 E, говорится о *εὐστομίᾳ* „благозвучие“).

Здесь Сократ рассматривает с точки зрения их точности прежде всего собственные имена, например *'Αγαμέμνων* „Агамемнон“, которое обозначает, повидимому, *ἀγαστὸς κατὰ τὴν ἐπιδούγη* „достойный удивления из-за его упорства“; *Ἄτρεψ* „Атрей“ — по характеру действия *ἀτρά* „гибель“ и т. д. Позднее, заметив, что имена часто даются детям по имени отца или как пожелание [например, *Εὐτυχίδης* „Евтихид (т. е. счастливый)“], он переходит к именам нарицательным. Так, *θεός* „бог“ происходит, вероятно, от *θεῖν* „бежать, быстро передвигаться“ (такими божествами являются солнце, луна, земля, звезды, небо); *δαίμων* „божество“ от *δαίμων* „мудрый“; *ἄνθρωπος* „человек“ от *ἀναθρέω* „внимательно рассматриваю“ и *ἄπωπτος* „виджу“ (*ἀναθρόν* δὲ *ἄπωπτος* „размышляющий над тем, что видит“); *ψυχή* „душа“ есть не что иное, как *ψυζέχη*, потому что она *ἡ ψύστιν ὁχεῖ καὶ ἔχει* „несет и держит природу“ — пример изначальных (воображаемых) форм, постулируемых часто Платоном, чтобы подтвердить их происхождение; *ἥλιος* „солнце“, дорическое *ձլιօς* (поскольку Платон признает законным класть в основу своего исследования формы из чужих диалектов, *ἕνικά*), на выбор — от *ἀλίζειν* „собираться (к восходу солнца)“, *εἰλεῖν* „вращаться (около земли)“ или *անլեն*, обозначающего *ποικίλειν* „делать пестрым“ и т. д. Пример добавления звука мы находим в числе других в *δίκαιον* „справедливое“ вместо *διαίτον* „проходящее через все“; пример стяжения — в *αἰσχρόν* „позорное“ вместо *ἀεισχόρον* (*ἀεὶ ἵσχουται τὸν ρῶν* „то, что всегда задерживает течение“). Эти и другие деформации являются, повидимому, результатом действий тех, кто не заботится об истине, а думает только о произношении (*οἱ τὸ στόμα πλάττοутες* „искусно произносящие“); в результате при добавлении новых звуков к исконным никто уже не может больше понять значения слова. Сократ часто объясняет слова соединением или, лучше сказать, комбинацией двух или большего количества слов; сюда же им включаются и слова типа причастий *ἴον* „идущее“, *ρέον* „текущее“, *δοῦ* „давшее“, о происхождении которых Гермоген спрашивает своего собеседника.

Это тὰ πρῶτα τῷ ὄνομάτῳ „первые имена“; относи-

тельно них Сократ говорит, что он принял бы их за варварские слова, но они могут быть также и полностью преобразованными с течением времени. Он утверждает, что дальнейшее исследование необходимо приостанавливать, как только мы доходим до слов, которые являются элементами всех других слов и которые не имели непосредственной связи с последующими словами; иначе говоря, здесь нельзя больше прибегать к анализу и необходимо судить о ὁρθότης „истинности“, исходя из чего-то другого. Этим открывается глава о τῷ πρώτῳ ὀνομάτῳ ὁρθότης „истинности первых имен“, одинаковой для каждого ὄντος „имени“, где должна быть показана сущность вещи, между тем как в словах производных (τὰ ὕστερα) она обнаруживается при помощи их στοιχείων „элементов“ или πρώτηρα „первоначал“.

Если бы у нас не было голоса и языка, мы, подобно немым, указывали бы на предметы жестами, подражающими природе этих предметов; тот же принцип следовало бы положить и в основу лингвистического соответствия так, чтобы слово имитировало то, что именно имитируется. Но в действительности слово является не подражанием, а символом: речь идет об обозначении каждой вещи звуками и слогами. Для этого необходимо выяснить возможности и сущность каждого звука и сочетания звуков. Так, ρ обозначает всякого рода движение и резкость (в φέγγυ „течь“, ρότη „поток“, τρόμος „дрожь“, κρόνεγκу „стучать“ и т. д.); ι — понятия тонкие; ψ, φ, σ и ζ, являющиеся спирантами (πνευματώδη „имеющий приധание“), — понятия, чем-то напоминающие это качество, например φυγρόν „холодное“, ξέον „кипящее“, σείσθαι „сопротивляться“, σεισμόν „трясение“ и т. д.

Этим исследование было, повидимому, закончено. Сократ и Гермоген спрашивают у Кратила его мнение, и тот сообщает о своем согласии с полученными результатами. Но Сократ вновь проверяет то, к чему пришли в итоге обсуждения, и обобщает это таким образом: точность слов достигается в том случае, когда слово указывает, что представляет собой обозначаемая вещь; слова служат для сообщения (*διδασκαλία*), и их оформление является искусством, которое находит своих мастеров в υμοφέται „законодателях“. И подобно тому как в различных областях искусства есть лучшие и худшие мастера, так и υμοφέται бывают различного достоинства.

Кратил отрицает это, утверждая, что все слова соответственны обозначаемым вещам: πάύτα τὰ δύομάτα ὄρθως κεῖται „все имена даны правильно“. Поэтому нельзя сказать, что Гермогену его имя мало подходит (*κεῖται*); это вообще не его имя, а имя другого человека, природа которого отражена в его имени. Возникает новый спор, в конце которого Кратил соглашается с Сократом, что слова в разной степени могут соответствовать обозначаемым вещам.

Следовательно, если из названий, представляющих вещи, некоторые названия являются производными (έχ πρωτέρῳ ξυγγείευα „из первоначальных составленные“), а другие — изначальными (πρῶτα), то, очевидно, изначальные названия должны лучше соответствовать обозначаемым вещам. Или, быть может, следует согласиться с Гермогеном и многими другими, что слова — результат соглашения и обозначают вещи только в представлении тех людей, которые участвуют в соглашении и уже знают эти вещи, и что точность слов есть следствие договоренности; поэтому не имеет значения, будем ли мы называть вещи так, как они называются сейчас, или же наоборот: то, что сейчас называется „маленьким“, будет именоваться „большим“, а то, что называется „большим“, будет именоваться „маленьким“? Но Сократ напоминает, что ρ, как уже говорилось, способно указывать движение и резкость, λ — ровность и мягкость, и ставит вопрос, обозначают ли одно и то же аттическое σχληρότης „жесткость“ и эретрийское σχληρότηρ? После того как Кратил подтвердил это, установили, что это происходит, поскольку σ и ρ вообще выражают „порыв“ (*φρέσ*). А λ в первом слоге? Не обозначает ли эта буква как раз нечто противоположное σχληρότης или жесткости? Конечно, отвечает Кратил, и ее следовало бы заменить ρ. Но, настаивает Сократ, разве один из нас не понимает, что хочет сказать другой, когда тот употребляет слово σχληρός „жесткий“? Да, — говорит Кратил, — в силу привычки (διὰ τὸ ἔθος). Но эта „привычка“ есть то же, что „договоренность“, и благодаря ей буквы (звуки) обозначают для меня и для тебя как вещи, соответствующие им (τὰ δύοια), так и непохожие на них (τὰ ἀνύδοια). Таким образом, хотя Сократу и желательно, чтобы слова как можно больше соответствовали обозначаемым вещам, все же при суждении о точности слов приходится учитывать и соглашение.

Затем Сократ спрашивает, в чем заключается сила слов; Кратил отвечает, что она состоит в их возможности служить средством общения, и кто знает слова, знает также вещи. Однако, замечает Сократ, если кто-нибудь, исследуя вещи, опирается на их названия, то он рискует впасть в заблуждение: если создавший слова, руководствуясь своими представлениями о вещах, составил неправильное о них представление, то и мы, следя его словам, разделим его ошибку. Кратил настаивает на своем мнении, что человек, создавший имена, сделал это с полным сознанием (εἰδώς; „зная“), потому что в противном случае они не были бы именами, и ссылается на произведененный Сократом анализ, согласно которому первые названия были созданы на основе принципа всеобщего движения и соответствовали этому принципу. Но, даже отвлекаясь от предположения, что этот принцип мог быть ошибочным и согласованность с ним слов означала бы только настойчивое и последовательное сохранение ошибки, можно ли в дальнейшем считать реальной эту согласованность слов с положенным ранее в основу принципом, согласно которому все вещи были в движении? Новый анализ выявил бы совершенно иной принцип, а потому здесь налицо противоречие между восприятием мира, которое лежит в основе тех и других слов.

Далее: создатель имен должен исполнять свою роль, зная называемые вещи, равно как и тот, кто создал первоначальные слова; но откуда последний мог иметь это знание, если верно мнение Кратила, будто вещи познаются только по их обозначениям? Кратил ссылается здесь на сверхчеловеческое могущество, которое дало тὰ πρῶτα ὄντα τοῖς πράγμασιν „первые имена предметов“, так что они должны быть точными. Однако Сократ замечает, что этот θεός „бог“ или это δαιμόνιο „божество“ противоречили бы самим себе, если исходить из результатов предшествующих рассуждений, а следовательно, необходимо искать за пределами слов нечто иное (ибо Кратил сам допускает существование чего-то отличного от слов, позволяющего познать живые существа), что показало бы, какие слова соответствуют обозначаемым понятиям, а какие — нет.

Конец диалога заключает в себе предложение Сократа отказаться от мнения о том, будто достаточно знать слова, чтобы понимать вещи.

* * *

Оставляя в стороне то, что в „Кратиле“ относится собственно к теории познания, рассмотрим то основное, что касается языкоznания. Отвергая предполагаемую Кратилом ὄρθοτης φύσει „истинность по природе“, Сократ допускает такую ὄρθοτης в значении слова, которая соответствует точному обозначению указываемой вещи, как имена 'Αστιάγαξ „Астианакт“ и "Εκτωρ „Гектор“; возвращаясь к примеру, которым мы начали эти страницы, мы бы сказали, что *bottaio* „бочар, бондарь“ — это *δουμα ὄρθον φύσει* „слово, истинное по природе“. Имена были даны одним или более *νομοθέται* „законодателями“, которые перевели в звуки идеи самих имен, т. е. образовавшиеся в них понятия вещей; эти понятия, если они полностью адекватны звукам, должны оставаться неизменными, т. е. такими, какими являются звуки (т. е. языки) греческие или варварские, в которые они переведены. Современный языковед говорил бы о внутренней форме, соответствующей многим внешним формам, о чем свидетельствует, например, случай с нем. *Ge-wissen*, лат. *con-scientia* и гр. *συν-είδησις*; все эти три слова обозначают одно и то же („сознание, совесть“) и состоят из предлога со значением „с, совместно“ и именной основы, выражающей „знание“.

Но *νομοθέται* могут различаться по своим способностям; поэтому данные ими имена могут быть соответственными в большей или меньшей степени; мы бы добавили, что предмет может быть рассматриваем со многих точек зрения и, следовательно, назван по-разному, хотя и в соответствии с каждой отдельной точкой зрения, например: *servitore* „служитель“, *domestico* „слуга“, *cameriere* „официант“. Поэтому ὄρθοτης φύσει „истинность по природе“ всегда относительна. И если для Платона (в лице Сократа) такая точность существует как очевидная (даже если его этимологические изыскания понимаются самим автором как простые попытки без притязания на то, чтобы „попасть в цель“, часто, скорее, даже с некоторой иронией) в отношении производных слов (*τὰ ἴστερα*), которые в конце концов должны были бы все, прямо или косвенно, принадлежать к тому типу, который мы назвали описательным, то для прототипов (*τὰ πρώτερα*) это чрезвычайно сомнительно; именно в этой области Сократ, кажется, скло-

нен допускать возможность договоренности, которую он не отрицает и для производных слов (ср. стр. 434 Е — 435 А, где он отождествляет ἔνυθήκη „договор“ и ἔθος „привычка“ Кратила, т. е. „когда я произношу слово, я подразумеваю определенную вещь, и ты понимаешь, что я подразумеваю эту вещь“).

Что касается способа познания истинного значения слов в этимологической практике, то он опирается на происхождение *ἴστερα* „производных“ от *πρώτερα* „первоначальных“, которое может быть двояким: или путем более или менее значительного преобразования основного слова, как это имеет место в случае с *ἥρως* „герой“, произшедшем от *ἔρως* „эрос, любовь“, или путем смешения двух или более слов. Для *εὐστομία* „благозвучия“ звуки могут произвольно прибавляться, переставляться, отбрасываться, чем и объясняется различие между формами предполагаемыми и существующими в действительности. Наконец, первоначальные слова, поскольку их можно и желательно объяснить, рассматриваются как звуковые символы представляемых вещей; не исключено, что это варварские слова (здесь проявляется теория заимствований), как, впрочем, не исключено в этимологических изысканиях и обращение к греческим диалектам, отличным от аттического. Необходимо отметить, что Платон, как и вообще античные языковеды, был незнаком с деривацией, как мы ее теперь понимаем,— образованием слов при помощи суффиксов.

То, чего не хватает в основном платоновской теории,— это исторического принципа. Понимание языка как *ἐνέργεια* „деятельности“, т. е. как непрерывной творческой деятельности, было достигнуто прежде всего благодаря Вильгельму Гумбольдту; для Платона язык — *ἔργον* „сделанное“, нечто постоянное и неизменное, хотя ему не чужда и идея *παλαιότης* „древности“ — причины изменений. Однако он опирается на *χρηστότατα* „законодателей“, которые выработали язык. Заменив эти мифические персонажи говорящими индивидами, которые непрерывно создают свой язык из элементов, полученных из речи других и своей собственной, и определяют последующие лингвистические акты, можно сказать, что каждый индивид, оформляя новое слово, пытается выразить в нем, опираясь на полученный языковой материал, свое представление о вещи, которая подлежит обозначению.

Мы имеем здесь дело с историей этимологии, и мнения людей античного мира о сущности языка интересуют нас в той мере, в какой они имеют отношение к нашей теме. Укажем, что Платон углубил некоторые свои мысли, например, мысль о том, что λόγος „речь“ (в „Кратиле“ говорилось только об ὀνόμαта „именах“) служит для передачи мыслей посредством голоса с помощью имен и глаголов (ὄνοματα и ρήματα, т. е. слов, обозначающих εἴδη „предметы“ и πράγματα „события“), что отражается, как в зеркале или в воде, в движении воздуха, который выходит изо рта („Theaet.“, стр. 216). Отметим также взгляды Аристотеля, по существу одинаковые с платоновскими, который считал, что „язык (τὰ ἐν τῇ φωνῇ το, что выражается звуками“) — это символ движений души, а письмо — символ движений языка; и подобно тому как не все языки имеют одинаковые буквы, так не все они имеют одинаковые звуки, тогда как, наоборот, движения души и вещи, которые ими выражаются, всегда одинаковы [φύτα, т. е. τὰ παθήματα — τῆς φυχῆς ὅμοιώματα „изменения, которые (т. е. звуков и букв) весьма подобны движениям души“]. Он заключал отсюда, что φύσει τῶν ὄνομάτων οὐδέν εἶστιν „нет слов согласно природе“ („De interpretatione“, гл. 1 и 2): εἴστι δὲ λόγος ἀπας μὲν σημαντικός, οὐδὲ ώς ὅργανον δέ, ἀλλ’ ώς προείρηται κατὰ ξυνθήσην „всякое предложение имеет значение, но не как орудие, а, как было сказано, вследствие соглашения“.

Эпикур частично идет теми же путями, но возвращается к проблеме происхождения языка, поставленной в „Кратиле“, где говорилось о πρῶτα ὀνόματα „первых словах“. Данное им истолкование (Диоген Лаэртий, X, 75, стр. 284 Е), имеющее своей целью объяснить языковое различие между разными народами, заключается в следующем. Вначале слова были следствием естественного выдохания воздуха людьми (τὰς φύσεις τῶν ἀνθρώπων); поскольку же люди принадлежали к разным племенам и получали различные впечатления и создавали себе собственные образы, слова изменялись в соответствии с впечатлениями и образами, а также местными особенностями. Но в дальнейшем звуки, издаваемые отдельными людьми, стали условно регулироваться у каждого народа для нужд общения; для вещей же, не воспринимаемых чувствами, те, кто пред-

ставлял их себе, вводили другие выражения, иногда подчиняясь инстинктивной необходимости, а иногда в итоге рассуждений¹.

Стоики пытаются согласовать унаследованные мнения и создают учение, послужившее основой для этимологии в течение всего периода античности и (в более или менее измененном виде) вплоть до начала современной лингвистики. Они отличают человеческую речь от криков животных, поскольку звуки, издаваемые животными, представляют собой колебания воздуха, возникшие под влиянием определенного возбуждения, тогда как человеческая речь состоит из расщепленных звуков, произносимых по велению рассудка (*φωνή* ... *ἔναρθρος καὶ ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπόμενη*) благодаря особой способности души (*τὸ φυγτικὸν μέρον* „произносительная часть“), которая входит в состав души наряду с пятью чувствами, разумом (*τὸ διανοητικὸν* „размышляющее начало“, также *ἡγεμονικόν* „направляющее начало“) и генеративной способностью (*τὸ γεννητικόν* „производящее начало“, также *σπερματικόν* „рождающее начало“; см. об этом у Диогена Лаэртия, VII, 55, 110; „Placita“, IV, 4, 4, 21, 4). Процесс речи состоит в том, что мы издаем звуки, указывающие на вещь, о которой думаем (Секст Эмпирик, Adv. Math., VIII, 80); это происходит при помощи *φυγτικὸν μέρον*, *τὸ φωνᾶεν* „произносительной части, одаренной голосом“, по терминологии Зенона, что представляет собой дыхание (*πνεῦμα*), идущее от разума к горлани, языку и другим родственным органам (*ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι φάρυγγος καὶ γλώττης καὶ τῶν οἰκείων ὄργάνων*; „Placita“, IV, 21, 2)².

Что касается слов, то стоики принимают платоновское деление их на первоначальные и производные; первые из этих слов, по мнению стоиков, берут начало *φύσει*, *μημονέψιν* *τῶν πρώτων φωνῶν* *τὰ πράγματα καθ'* *ῶν τὰ διόρθωτα, καθὸ*

¹ Ср. также у Оригена („Contra Cels.“, I, 24, стр. 18): *ἥ, ὁς διδάσκει Ἐπίκουρος ..., φύσει εἰσὶ τὰ οὐράτα ἀπορρητάτων τῶν πρώτων ἀνθρωπῶν τινας φωνας κατὰ τῶν πράγμάτων* „или как учит Эпикур, есть слова от природы, когда первые люди издавали какие-то звуки, соответствующие вещам“, где, однако, ничего не говорится о словах, возникших в результате *θεστεῖ* „соглашения“. Следует отметить, насколько эпикурейское *φύσει* „от природы“ далеко от платоновского и еще дальше от гераклитовского, поддерживаемого Кратилом против Сократа, в диалоге, носящем его имя.

² Отсюда этимология *φωνή* „звук“, объясняемого как *φῶς* /σῶ/ „светоч разума“.

χοὶ στοιχεῖα τίνα ἐτυμολογίας εἰσάγουσι „от природы, поскольку первоначальные звуки подражают вещам, по отношению к которым слова, как и некоторые элементы слова, дают истинное значение“ (Ориген, *Contra Cel.*, I, 24); следовательно, содержат πρῶται φωναὶ „первоначальные звуки“, подражающие вещам и своими элементами образующие остальные слова. Но и первые и вторые, рождаясь из представлений о вещах в человеческой душе, а затем исходя из ἕγεμονής „разума“, где эти представления воспроизводятся автоматически как идеи справедливости, добра и т. д., вначале являются ἔτυμα „этимонами (истинными)“ (подобно тому как истина заключена в *communis opinio* „общем мнении“, в пословицах, в мифах и т. д.), так что ἐτυμολογία „этимология“ имеет своей задачей, с одной стороны, показать соответствие слова обозначаемому предмету, а с другой — установить истины религиозные, моральные и метафизические, скрытые в этих этимонах¹; в конце концов этимологию считают даже нормой практической жизни, как это полагал и поздний последователь учения стоиков св. Августин, который рассказывает нам в „Исповеди“ (IX, 12, 32), что он искупался, чтобы воспрянуть от отчаяния, в которое его повергла смерть матери: *quod audieram inde balneis nomen inditum, quia Graeci βαλανεῖον dixerint, quod anxietatem pellat ex animo* «так как я слышал, что банным потому дано такое наименование, что греки говорили „баланейон“ (баня), имея в виду, что она гонит тревогу из души»; таким образом, Августин доверился в этом случае этимологии, которая выводила βαλανεῖον „баня“ из βάλλειν ἀγαῖα „изгнать печаль“².

Что касается этимологической практики стоиков, то будет полезным привести здесь в наиболее существенных выдержках известный отрывок из сочинения того же Августина („*Principia dialecticae*“, гл. 6):

Stoici autem... nullum esse verbum, cuius non certa ratio explicari possit. Et quia hoc modo sugerere facile fuit, si diceres hoc infinitum esse, quibus verbis alterius verbi originem interpretareris, eorum rursus a te originem quaerendam esse, donec perveniatur eo ut res cum sono verbi aliqua similitudine concinat, ut cum dicimus aeris *tinnitum*, equorum *hinnitum*,

¹ Steinthal, I, стр. 331.

² Bendz, „Eranos“, т. XLIV, стр. 339.

ovium *balatum*, tubarum *clangorem*, srtidorem catenarum. Perspicis enim haec verba ita sonare ut res quae his verbis significantur. Sed quia sunt res quae non sonant, in his similitudinem tactus valere, ut si leviter vel aspero sensum tangunt, lenitas vel asperitas litterarum ut tangit auditum sic eis nomina pepererit... Lene est auribus cum dicimus *voluptas*; asperum est cum dicimus *crux*... Haec quasi cunabula verborum (στοιχεῖα) esse crediderunt, ut sensus rerum cum sonorum sensu concordarent. Hinc ad ipsarum inter se rerum *similitudinem* processisse licentiam nominandi «Стоики утверждают..., что нет слова, значения которого нельзя было бы верно объяснить. Но так как это дало бы возможность легко возражать им, говоря, что можно без конца отыскивать происхождение тех слов, с помощью которых объясняется происхождение какого-либо другого слова, то они прибавляют, что искать такое объяснение нужно только до тех пор, пока не будет достигнуто некоторое сходство между самой вещью и звучанием слова, как, например, когда мы говорим: *звон* меди, *ржание лошадей*, *блеяние овец*, *гудение труб*, *лязгание цепей*. Ведь очевидно, что эти слова звучат так, как сами вещи, которые ими обозначаются. Но так как бывают и такие вещи, которые не звучат, то они сближаются по сходству воздействия; так, если они воздействуют на чувство мягко или грубо, то и те звуки, которые рождают для этих вещей имена, должны касаться нашего слуха мягко или грубо. Мягко для слуха, когда мы говорим „наслаждение“, грубо, когда мы говорим „крест“... Эту согласованность между восприятием вещи и восприятием звуков стоики считают как бы колыбелью слов. В дальнейшем наименования вещей стали использоваться для выражения сходства самих вещей между собой». Стало быть, в стих „крест“ отмечается близость „жесткости слова“ и „жесткости скорби“; отсюда *crux* — „нога“, потому что ноги *longitudine ac duritia inter membra cetera sunt ligno crucis similiora*, „своей длиной и твердостью из всех частей тела наиболее похожи на деревянные перекладины креста“. Inde ad abusionem ventum est, — продолжает Августин,— ut usurpetur nomen tam rei similis sed quasi vicinæ „Отсюда путь к употреблению слов в переносном значении, когда употребляется имя не сходной вещи, но почти близкой“, как это имеет место в случае с *piscinae* „бассейном“ для купанья, названным так

propter aquam ubi piscibus vita est „из-за воды, в которой живут рыбы“, а также потому, что люди, плавая, становятся похожими на рыб. Hinc facta est progressio usque ad contrarium „Далее мы имеем дело с названиями по противоположности“ (это наименования *κατ' αντίφρασιν*, „по противоположности“). Здесь известны случаи: *lucus* a non lucendo „*lucus* (роща), потому что она не *lucet* (светит)“, *bellum* quod res bella non sit „*bellum* (война), потому что эта вещь не *bella* (прекрасная)“, *foedus* quod res foeda non sit „*foedus* (договор), потому что эта вещь не *foeda* (безобразная)“ (если только, добавляет Августин, *foedus* не названо так a *foeditate porci* „от безобразия свиньи“, т. е. от свиньи, убитой при заключении договора¹). Дальше следуют различные случаи *vicinitas* „смежности“: per efficientiam „по действию“, каким было *foeditas porci* „бездобразие свиньи“ в только что приведенном случае; per effectum „по использованию“, как *puteus*, quod eius effectus potatio est „*puteus* (колодец), так как использование его заключается в *potatio* (питье)²: per id quod continet „по содержащему“, как *urbs* „город“ из *orbis* „круг“, начертенного вокруг места, в котором город должен быть воздвигнут; per id quod continetur „по содержимому“, как *horreum* „амбар“ из *hordeum* „ячмень“ с изменением буквы d; per abusinem „путем переноса значения“: a parte totum „с части на целое“, как *tusco* „острие“, употребляемое вместо целой шпаги, или a toto pars „с целого на часть“, как *capillum* quasi capitis pilus „волос, как бы волос (pilus) головы (capitis)“.

Что касается *verborum incunabula* „элементов (колыбелей) слов“, то Августин приводит в качестве примера значение буквы v, которая придает слогу, в котором она заключается, *crassum et quasi validum sonum* „густое и сильное звучание“, как это видно из выпадения таких

¹ См. Исидор, Origines, XVIII, 1, 11: Alii foedera putant a porca foede et crudeliter occisa, cuius mors optabatur ei qui a pace resilisset „Некоторые полагают, что название договора происходит от безобразной и жестоко убитой свиньи, так как подобная смерть предназначена тому, кто нарушит мир“. Вергилий: Et caesa iungebant foedera porca „И скрепили договор заколотой свиньей“ (Aen., VIII, 641).

² Эта этимология (*puteus* „колодец“ из *pōtāre* „пить“) показывает, что уже для Августина ё краткий и о долгий совпадали в одном звуке.

словов в *amasti* „любил“, *abiit* „ушел“ (вместо *amavisti*, *abivit*), *ne onerent autem ergo cum dicimus vim*, *sonus verbi, ut dictum est, quasi validus congruit rei quae significatur* „чтобы не утруждать слух: поэтому, когда мы говорим *vis* (сила), мощное, как выше сказано, звучание слова соответствует обозначаемой вещи“. Из *vis* „сила“ произошли *ex vicinitate* „по смежности“: *vincula* „оковы“ и *vimen* quo *aliquid Vinciatur* „гибкий прут, с помощью которого что-то скрепляется“, а отсюда *vites* quod *adniculis quibus vinciantur nexibus pendent* „виноградные лозы), так как они свешиваются (своими) переплетениями с подпор, которые они обвивают“ и, как следствие, *propter vicinatatem* „вследствие смежности“ (как сообщил Теренций) *vietum*; *via* названа так за свои извилины или же потому, что она *vi pedum trita est* „протоптана силою ног“.

Таким образом, *via* происходит будто бы из *vetus*, a *vetus* из *vitis* „лоза“; последнее в свою очередь — из *vincire* „обвивать“, восходящего к *vis* „сила“. *Vis* quare sic appellatur, requiret (*quispiam*): redditur ratio, quia robusto et valido sono verbum rei, quae significatur, congruit: ultra quod requirat non habet. Quot modis autem origo verborum corruptione vocum varietur, ineptum est prosequi: nam et longini et minus, quam illa quae dicta sunt, necessarium est „Кто-нибудь спросит, почему так называется *vis* (сила): рассудок говорит нам, что слово это своим мощным и сильным звучанием соответствует обозначаемой вещи: больше того, что мы о нем знаем, оно не имеет. Каким образом может видоизменяться происхождение слов вследствие порчи (изменения) звуков, прослеживать бессмысленно: это и долго и менее необходимо, чем то, что уже сказано“.

Нормы, данные Августином, касаются семантических изменений, которые в системе стоецков соответствуют образованию представлений (*χαταλήψεις*)¹. Что касается возникновения первоначальных слов, то вопрос этот освещает нам отрывок из Геллия (X, 4), где рассказывается о Нигидии Фигуле, который соотносил *vos* „вы“ и *nos* „мы“ с произношением соответствующего начального звука: в первом случае губы вытягиваются и дыхание направляется в сторону собеседников, во втором — мы

¹ Steinthal, I, стр. 334, и Секст Эмпирик, *Adv. geom.*, гл. 40, там цитируемая.

почти прерываем дыхание и сжимаем губы; то же и в отношении *tu* „ты“ и *ego* „я“, *tibi* „тебе“ и *nisi* „мне“: *Nam sicuti cum adnuimus et abnuimus motus quidem ille vel capitum vel oculorum a natura rei, quam significat, non abhorret: ita in his vocibus quasi gestus quidam oris et spiritus naturalis est* „Подобно тому, как при выражении согласия или отказа движение головой или глазами не противоречит природе обозначаемой вещи, так отвечают природе и некое движение губ и дыхание при произнесении этих звуков“.

Что касается изменения звуков, которые Августин обходит молчанием,— хотя точные правила („патология звуков“) создаются уже в августинскую эпоху Трифоном Александрийским¹,— то стоики придерживаются здесь тех же взглядов: *aut correptis aut porrectis, aut adiectis aut detractis, aut permutatis litteris sillabisve* „звуки или слоги сокращаются или удлиняются, прибавляются или отнимаются, или полностью изменяются“, как говорит Квинтилиан (I, 6, 32), или, выражаясь словами грека из Оро (400—450 гг. н.э.), изменяются *πλεονασμῷ, συγχοπῇ, ἀποβολῇ, τροπῇ* „путем прибавления, синкопы, отпадения, видоизменения“². Это происходит, когда какую-либо форму рассматривают не с внешней стороны, но опираясь на значение, как *πρωτότυπου* „прототип“, и из нее образуют другую — *παράγωγοу* или *declinatum* „измененную“ (соответствующие глаголы — *παράγειν* и *declinare* „изменять“) при помощи указанных *πάθη τῆς λέξεως* „изменений слова“ или *τῆς φωνῆς* „звука“. Точно так же и в области морфологии люди античного мира не дошли до различения основы и окончания и берут всегда *πρωτότυπου* „прототип“ (например, именительный падеж единственного числа или первое лицо единственного числа настоящего времени), по отношению к которому другие формы являются *παράγωγα, declinata* „изменениями“; мы бы сказали — отклонениями.

Теория стоиков остается в силе в отношении этимологии, как уже было сказано, для всего периода античности. Также принимают ее и грамматисты — хотя язык для них есть результат *θέσει* „соглашения“³, — проводя,

¹ J. Wackernagel, *De pathologia veterum initis* (диссертация), Базель, 1876, стр. 26 и сл.

² Steinhai, I, стр. 347.

³ Но это *θέσις* „соглашение“ по Беккеру (*Anecd.*, II, 740) существует *οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν εἰς ἀρχῆς αἱ Ἑλληνικαὶ λέξεις ἐπειδὴσκη ἐκάστῳ*

однако, различие между этимологией в собственном смысле и грамматической деривацией, или, пользуясь нашей терминологией, между словами номинативного и описательного типа. Однако часто грамматисты прибегают и к фантастической этимологии вместо естественного объяснения слов, отношения которых с другими словами были очевидными; например, Варрон (*„De lingua latina“*, V, 37) возводит *vinetum* и *vinea* „виноградник“ к *vitis* „виноградная лоза“ вместо *vinum* „вино“; *praeda* „добыча“, по его мнению (V, 178), образовано из воображаемого *parida* (*quod manu parta*, „что добыто рукой“), а *praemium* „награда“ — из *praeda* „добыча“, хотя ему, столь удачно разрешавшему иногда гораздо более трудные случаи, должна была бы быть ясна связь первого слова с *prae-hendo* „хватаю“ и происхождение второго из *prae+emto* „приобретаю“.

Чтобы лучше познать этимологическое учение грамматистов, перейдем к краткому рассмотрению методологических частей работы Варрона *„De lingua latina“*.

Для него *ετυμολογία* „этимология“ — это часть грамматики, которая изучает *cur et unde sint verba* „почему и откуда явились слова“ (V, 2). Она (V, 3 и сл.) должна бороться с пятью трудностями: некоторые из созданных вначале слов исчезли в силу давности; другие образовались ошибочно (т. е. не соответствуют точному понятию обозначаемой вещи); многие из слов *teste imposita* „правильно установленных“ изменили звуки (обычные πάθη „изменения“: *demptio* „отпадение“, *additio* „прибавление“, *tralatio* „перестановка“ и *commutatio* „изменение“ звуков и слов), другие — значение, и не все являются словами исконными; относительно звуков утверждается даже, что *quot modis litterarum commutatio sit facta qui animadverterit, facilius scrutare origines poterit verborum* „ тот, кто обращает внимание, каким образом произошло изменение звуков, легче сможет обнаружить происхождение слов“.

πράγματι, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ γοῦν ἀνάπτυξοντας εὐρίσκειν, μαρτίου τίνος τὸδε τι / καὶ πῶς δε λέγεται, „не для того, чтобы раскрыть, как соотносились сначала греческие слова с каждой вещью, но для того, чтобы найти смысл, почему и как каждая вещь называется“. Отсюда *ετυμολογία* „этимология“ — это *ἀνάπτυξε τὸν λέξεων, διῆς το ἀληθεῖς σφραγίζεται* „раскрытие слов, посредством чего обнаруживается истинное“, она заключается (стр. 1164) в *εὐρίσκειν τας αἰτίας τίνος ἔνεσεν τὸδε τοιῶσδε λεγεται* „поисках причины, почему что-то так называется“ — положение, совпадающее с положениями современного языковеда.

Происхождение слов может быть различаемо по четырем ступеням *explanatio „толкования“*: первая, самая низшая, доступная для простого народа, — та, которая показывает нам происхождение слова: *argentifodinae* „серебряные рудники“, *viocurus* „дорожный мастер“; вторая, quo *grammatica ascendit antiqua* „куда восходит древняя грамматика“, изучает образование слов поэтами; третьей ступени достигла только философия, которая показывает нам, a quo dictum esset *oppidum vicus via* «от чего были названы „город“, „деревня“, „путь“» [т. е. соответственно из *ops* „сила, помощь“ (V, 141), из *via* „дорога“ (145), из *veho* „везу“ (35)]; четвертая, ubi est adytum et initia regis „где святая святых и таинство царя“ относится к происхождению пр̄фта δύοιατα „первых слов“. С первых ступеней Варрон намеревается подняться до третьей, quod non solum ad Aristophanis (александрийский грамматист) lucernam, sed etiam ad Cleanthis (философ-стоик) lucubravi¹ „так как я бодрствовал (изучая) при фонаре не только Аристофана, но и Клеанта“, показывая, что настоящая, подлинная этимология (то, что применимо к словам номинативного типа) предназначена для философов, а не для грамматистов, и заключает: igitur quoniam in haec sunt tripertita verba, quae sunt aut nostra aut aliena aut obliterata, de nostris dicam cur sint, de alienis unde sint, de obliterata relinquam „итак, поскольку есть три типа слов, а именно, наши или чужие, или устарелые, то о наших я скажу, почему они (созданы), о чужих — откуда они (появились), устарелые же оставлю (обойду молчанием)“, указывая, таким образом, различие между словами коренными и заимствованными и правильно отмечая, что для первых важно установить, как они возникли, а для вторых, откуда они произошли.

В начале шестой книги Варрон возвращается к проблемам происхождения. Обычно слова возникают из других слов, поскольку они *declinantur* „изменяются“, сопровождаясь разными добавлениями, утратами и изменениями звуков; эти *declinationes* „изменения“ создали огромное количество слов из *primigenia* „первоначал“, которых Госконий (римский грамматист) насчитывал около тысячи. Но первоначальные слова не привлекают больше взоров сто-

¹ Ср. VI, 2, где Варрон называет как своих *auctores „руководителей“* стоиков Хризиппа и Антипатра и грамматистов Аристофана и Аполлодора, среди которых последние si non tantum acuminis, at plus litterarum „обладали не только остроумием, сколько ученостью“.

ика: *primigenia dicuntur verba ut lego, scribo, sto, sedeo et celera quae non sunt ab aliquo verbo, sed suas habent radices* «первоначальными словами называются такие, как, например, „читаю“, „пишу“, „стою“, „сижу“ и другие, которые не произошли от какого-нибудь слова, но имеют собственные корни»; и если в этом своем утверждении Варрон, повидимому, приближается к понятию „корня“, обиходному у современных языковедов, то еще ближе он стоит к их взглядам, когда, отбросив разные фантазии относительно происхождения *primigenia* „первоначальных слов“, заявляет (VII, 4): *qui ostendit equitatum esse ab equitibus, equites ab equo neque equus unde sit dicit, tamen hic docet plura et satisfacit grato*¹ «тот, кто показывает, что „конница“ (произошла) от „конников“, а „конники“ от „коня“, и не говорит, откуда „конь“, все же учит многому и дает удовлетворение».

* * *

Заключаем: семена, брошенные Платоном, не дали жатвы, которую можно было ожидать, и все свелось к схеме и к практике, которая за отсутствием здоровых теоретических основ не нашла себе развития и задержалась на некоторых положениях, порой разумных, но в своей совокупности, являющихся какой-то смесью, а не единым целым, и незначительных².

Мы видели, что работа была поделена между грамматистами и философами: первые занимались словами описательного типа, вторые — словами номинативного типа; первые в общем познали связи между словами, вторые просто фантазировали. Не говоря о том, что разделение между обеими областями труда было неполное и часто в первой применялись методы второй (с результатами,

¹ Ср. иначе у Квинтилиана (VIII, 6, 31): *οὐορχτοποιῶν quidem, id est fictio nominis, Graecis inter maximas habita virtutes* (подразумевается: „в искусстве писать стихи“); *nobis vix permittitur. Et sunt plurima ita posita ab iis, qui sermonem primi fecerunt, aptantes affectibus vocem. Nam mūgitus et sibilis et murmur inde γενεται* «словотворчество, т. е. создание новых слов, очень высоко ценимое греками, у нас едва допускается. Большая часть таких слов установлена теми, кто изначала создавал речь, соглася звуки с ощущениями. Так произошли такие слова, как „мычание“, „борботание“, „шепот“».

² См. правила, установленные Проклом у Беккера („Anecd.“, III, стр. 1163 и сл.) и обобщенные Штейнталем (I, стр. 355 и сл.).

которые мы уже отмечали), ни те, ни другие не создали подлинной этимологии: даже грамматисты удовлетворялись тем, что произвольно выдвигали в качестве первоначального какое-либо слово и производили от него другое или другие при помощи обычных, необоснованных фонетических манипуляций. Понадобились бы целые тома книг, чтобы собрать в них все несуразные этимологии античных авторов, разбросанные в различных работах не только по грамматике, но и по философии, по праву¹ и т. д., как дань тезису стоиков о первоначальной ὁρθότης „истинности“ слов, и о том, что при помощи этимологии можно распознать подлинное значение каждого слова и тем самым сущность обозначаемой вещи. Этимологии эти были собраны в конце античного периода в таких пособиях, как греческие *etymologica* „этимологические словари“ (*Etymologicum Magnum*, *Gudianum*, *Orionis* и т. д.) и латинские *Origines* „происхождения“ Исидора. Некоторые этимологии мы уже привели; дадим еще несколько примеров в назидание читателю: *Πατέρ* „отец“ в отношении к богу — это ὁ τὰ πάυτα τῆρῷу „всех охраняющий“, а в отношении к человеку — ὁ τοὺς παιδας τῆρῷу „охраняющий детей“ (образованное, следовательно, из па- первых слов и τῆρ- второго слова²), где суффиксальный слог может быть без колебаний извлечен из слова, даже из осколка любого слова. Подобно этому Варрон (V, 22) выводит *actus* „путь прогона скота“ из *agere* „гнать“ и *terere* „топтать“ (последнее в силу своего начального т), не думая о том, что *actus* образовано так же, как и все другие существительные на -tu³; *vallum* „вал, насыпь с частоколом“, согласно тому же Варрону (V, 117), названо *quod ea varicare homo potest, vel quod singula ibi extrema bacilla furcillata habent figuram litterae V!* „потому что никто не может его (вал) перешагнуть, или потому, что заостренные колья частокола раздвоены с конца в виде буквы V!“

¹ Ср. в особенности L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani raccolte ed illustrate con introduzione storico-critica*, Тури, 1892.

² Беккер, Anecd., III, 1163.

³ Мы не видим никакой разницы между этими этимологиями грамматистов и эгимологией одного профана, тирана Дионисия, который, согласно Атенею (98 D), считал, что μύστηρια „мистерии“ означало первоначально „крысиные норы“ (ὅτε τοὺς μύς τῆρει „так как они охраняют мышей“), не думая о μύστης „посвященный в таинства“, в свою очередь происходящего от корня μύω „закрываться“.

Разумеется, что перед лицом подобных выводов люди разумные должны были считать этимологию остроумной игрой, даже когда сами занимались ею. Так, Цицерон (*„De off.“*, I, 7, 23) извиняется, что выдвигает этимологию *fides* „вера“: *quamquam hoc videbitur fortasse cuiuspiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui studiose exquirunt unde verba sint ducta, credamusque, quia fi-at quod dictum est, appellatam fidem* „хотя кому-нибудь это, может быть, и покажется грубым, однако осмелимся подражать стоикам, которые ревностно исследовали, откуда выведены слова, и будем считать, что *fides* (вера) названа так потому, что она означает *fi-at* (да сбудется) *dictum* (то, что сказано)“. Еще рече он выражался в первой книге *de gloria* „о славе“, где он, ведя этимологию *oppida* „города“ из *opem dare* „оказывать помощь“ (ср. Варрон, *De lingua latina*, V, 141), добавляет, по словам Феста (стр. 202 М): *ut imitemur ineptias Stoicorum* „чтобы воспропризвести глупости стоиков“. Меланхолично звучит и вывод Августина, который, как мы видели, занимался правилами этимологии и не избегал этимологизирования,— вывод, который в качестве эпиграфа использовал Курциус в своих *„Grundzüge der griechischen Etymologie“*: *ut somniorum interpretatio, ita verborum origo pro cuiusque ingenio iudicatur* „как толкование сновидений, так и происхождение слов представляются каждому (различно) в зависимости от его разумения“.

* * *

Этимологические принципы и методы античных авторов продолжают сохраняться в средние века и в новое время с изменением только в том отношении, что к античным взглядам на происхождение первых слов здесь примешивается временами библейский миф о первоначальных наименованиях, данных Адамом в присутствии (или по внушиению?) бога (II, Gen., 19): *Formatis igitur dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae, et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea: omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius* „После того как господь бог создал из земли всех животных на земле и всех пернатых в небе, он привел их к Адаму, чтобы посмотреть, как он их назовет; и то, как назвал Адам каждую живую душу, стало ее именем“. На этот миф ссылались все те, кто хотел вы-

вести все языки из древнееврейского¹. Однако и этот метод и этимологическая практика таких людей, как оба Скалигера и Воссий², как две капли воды похожи на метод и практику Варрона, и если своему „Etymologicum“ Воссий и предпосылает *tractatus de litterarum regeneratione* „трактат об изменении звуков“, то этот трактат не менее произволен и непоследователен, чем идеи, которые питали работы античных авторов. Впрочем, некоторые замечания, хотя и точные, но бесплодные в силу их бессистемности и непоследовательности, были сделаны, например, Варроном, который отмечал, что в некоторых латинских словах вместо интервокального -r- одно время был -s-. И даже расширение области наблюдений, т. е. увеличение числа рассматриваемых языков, не принесло ожидаемых плодов. Так, если греки в своей этимологии ограничивались, как правило, собственным языком (на языки варварские только мимоходом указал Платон в одном месте „Кратила“, 409 D — 410 A), то и римляне, рассматривавшие и свой и греческий языки, хотя и отмечали некоторое сходство между ними и предполагали происхождение отдельных своих слов (разумеется, коренных, а не заимствованных) из греческого и даже из эолийского языков, не добились, однако, строгого применения этого принципа³. Ученые-неолатинисты тоже не могли не заметить происхождения их языков из латинского; исключение составляют любопытные отклонения, вроде мнения Джамбулари, высказанного им в „Origine della lingua fiorentina“, будто итальянский язык восходит к этрусскому, а последний — к арамейскому, или взглядов Персия и Моносини, согласно которым итальянский язык восходит к греческому. Но если для многих романских слов ученые и находили начало в словах латинских и

¹ Таковы *Bibliander*, *De communi ratione omnium linguarum*, и *Gesner*, *Mithridates, de differentia linguarum*; оба эти швейцарца XVI в. выводили греческий язык из древнееврейского и из греческого латинский.

² *Jul. Caes. Scaliger, De causis linguae latinae*; *Jos. Scaliger, Coniectanea ad Varronem*; *Gerh. Joh. Vossius, Etymologicum linguæ latinae*.

³ Квинтилиан (I, 6, 31): *Sive illa ex Graecis orta tractemus, quae sunt plurimæ, præcisè Aeolica ratione (cui est sermo noster simillimus) declinata* „Будем считать, что многие слова произошли из греческих, главным образом путем изменения эолической основы (которой наша речь наиболее близка)“.

иногда делали правильные замечания о фонетических отношениях между латинским языком и языками, происшедшими от него, то все же это не препятствовало курьезным построениям и, что еще хуже, безразличному возведению итальянских и французских слов — не в качестве заимствований — к греческому или какому-либо другому языку (например, Перион¹ возводит не только *aime* „любить“ к лат. *amare*, но также *feu* „огонь“ к πῦρ, *maréchal* „маршал“ к τολέμαρχος „военачальник“ с утратой двух первых слогов, и т. д.), что свидетельствует о полном отсутствии разумного исторического подхода. Точно так же в области фонетики никто не отметил единообразия изменений в одном и том же языке и в один и тот же период времени².

Особое ответвление этой этимологии мы находим в голландской школе, где оно достигло своей кульминационной точки в работе Ван Леннепа „Etymologicum linguae graecae“, который продолжает старые методы стояков; единственное изменение, допущенное им, состоит в том, что *verba primigenia* „первоначальные слова“, или, как он их называет, *stirpes* „корни“ или *origines* „начала“ он рассматривает как глаголы на ω, которые, вдобавок, в значительной своей части изобретаются им самим (άω, ἔω и т. д., βάω, γάω и т. д.). Достигнув этого, можно безоговорочно подписаться под известным определением Вольтера, согласно которому эта этимология — это наука, в которой гласные ничего не стоят, а согласные стоят немногим большего.

* * *

Наука, о которой по праву можно сказать то, что Вольтер сказал об этимологии, не является наукой. Если материал, составляющий предмет ее исследования, т. е. звуки, образующие слова, трактуется произвольно и ре-

¹ „De linguae Gallica origine“, 1554.

² Приведем некоторые примеры этимологии в период Возрождения для итальянского языка: *basto* „мне достаточно“ из *bene* „хорошо“ + *sto* стою; *bosco* „лес“ из βόσκω „пасу, кормлю“; *guadagno* „заработка“ из *gaudeo* „радуюсь“ (*A carisio, Vocabolario e grammatica e ortografia della lingua volgare*); *bandiera* „флаг“ из *pandere* „раскрывать“; *innamorare* „внушать любовь“ (поскольку оно написано с двумя n!) из *in memore* „в роще“ (*Fr. Alunno*). Ср. O. Olivieri, *I primi vocabolari italiani fino alla prima edizione della Crusca*, „Studi di filologia italiana“, VI, 1942, стр. 77, 125, 144.

зультаты исследования по существу не представляют никакой ценности, потому что ни у кого нет методологической основы для решения вопроса об их качестве, и если в одинаковой мере прав как тот, кто выводит *valium* „вал, насыпь с частоколом“ из *varicatae* „ходить, широко расставляя ноги“, так и тот, кто связывает это слово с раздвоением в форме буквы V палок, из которых сделан палисад, то этимология может в крайнем случае претендовать лишь на название ученой игры; для нее не требуется никакого здравого смысла — настолько велики те несуразности, которые она допускает. О научной этимологии можно говорить лишь в том случае, если создается лингвистическая наука, которая имеет своей основой ясное понимание исторического становления языков и исторических отношений между ними, вскрывает в их изменениях закономерности, а не случайную прихоть, и вырабатывает ясные и точные понятия на базе возможностей образования слов в каждой лингвистической системе. Но об этих качествах современной этимологии мы будем говорить в другом месте. Сейчас важно остановиться на целях, преследуемых этимологией; с этой точки зрения полное изменение взглядов имело место начиная уже с античных времен.

Мы видели, что для Платона этимология служила средством разрешения проблемы, является ли язык *φύσης* „от природы“ или *θέσης* „по договору“; для стоиков, объединившихся в этом случае с гераклитцами, она должна была не только показать тождество слова и понятия, а отсюда — и доказать происхождение *φύσης* языка, но также вскрыть истины, вложенные в слова их первыми создателями. Когда этимология перешла от философов к грамматистам, последние восприняли вместе с практикой и методами также и принципы, но цель для них осталась на втором плане или же попросту была забыта. Варрон считает себя удовлетворенным, когда сумел возвести *equitatus* „конницу“ через *equites* „всадник“ к *equus* „коню“, и хотя он и ссылается на учение чисто грамматическое, согласно которому существующие слова можно возвести к ограниченному числу глагольных *radices* „корней“, но этим преследует чисто формальные цели: мы видели, как он, даже бодрствуя у фонаря Клеанта и Аристофана, ставит пределом своих этимологий *tertius gradus* „третью ступень“, которая находится вне исследования чистой

грамматики, поскольку оперирует формами, не подлежащими анализу грамматическими средствами, и исключает четвертую ступень, где вскрываются первоначальные значения и восстанавливаются первичные элементы. Если для философов изучение формы слов служило средством выяснения их первичного значения, то для грамматистов значение служит только средством для установления отношений между словами в целях отыскания их первичной формы. Хотя философские цели и возникают случайно то здесь, то там перед философами или изучающими другие дисциплины и ищащими в этимологиях подтверждения своих мнений, как это имеет место, например, в случае с Паоло, который в „Digesto“ пишет (XII, 1, 2): *Appellata est autem mutui datio ab eo quod de meo tuum fiat* „*Datio mutui* (дать в долг) говорится так потому, что *de meo* (мое) становится *tuum* (твоим)“, но в общем грамматисты, занимающиеся этимологией *ex professio* „по профессии“, не думают об этом; когда Скалигер выводит *ordo* „ряд, порядок“ из *ōrōu* ὅρος „устанавливаю (даю) границу“, Воссий — *vello* „выщипываю“ из *tīllō* „вырываю“ и *similis* „похожий“ из *μιμήσ* „скопированный“, то интерес исследования исчерпывается предполагаемым нахождением первоначальной формы.

Если методы, которые новое языкоzнание получило в наследство от старой грамматики, были такими, как мы видели, то таковы же были и ее цели. Как в отношении их вела себя новая лингвистика?

„Цель этимологии — возвести слово к его первоначальной форме“, — пишет в 1843 г. Фридрих Диц, основатель романской филологии, в начале своего этимологического словаря¹. Посмотрим, как он понимает поставленную перед собой задачу, на примере нескольких слов из этого словаря:

cánapre (стр. 84) „конопля“, из *cannabis cannabis*;

cannone (стр. 85) „тростник“, затем „ружейное дуло, тяжелое орудие“, из (лат.) *canna*;

сапорé (стр. 85), ит., исп., фр. *сапарé*, из *сопореum* (χωυψεῖον) „сетка от комаров; кровать с пологом для защиты от комаров“;

¹ „Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen“, Бонн, 1853. Я использую четвертое издание с приложением Aug. Scheleger, Бонн, 1878.

cánfora (стр. 84) „камфора“, из араб. al-kâfûr, со вставкой п; без вставки ит. safura, первоначально из индийского¹; guardare (стр. 177), из др.-в.-нем. wartēn „присматривать“; имя существительное ит., исп. guardia, из гот. vardja, др.-в.-нем. warto (м. р.), warta (ж. р.).

Отсюда видно, что Диц в случае с cánpare „конопля“ ограничивается выяснением, каким было то латинское слово, продолжением которого является итальянское; в случае с cappone он указывает латинское слово, от которого образовалось итальянское (через его итальянское продолжение, добавим мы); для сапорé, указав его латинского прародителя, он ставит в скобках его греческий оригинал; для cánfora „камфора“ указывает первооснову al-kâfûr в арабском языке и сообщает нам, что в арабский язык это слово пришло из индийского; для guardare и guardia отмечает германские прототипы. Каждый раз, идет ли речь о словах латинского происхождения или о заимствованиях, он довольствуется тем, что указывает латинскую форму или форму других языков, которая лежит в основе итальянского слова и слов из других романских языков. В случае с сапорé и cánfora он отмечает также греческое и индийское происхождение латинского и арабского слов, от которых образованы итальянские слова: это сделано не в формальных целях (во втором случае он опускает даже индийское слово), а в целях культурно-исторических. Если в другой словарной статье, посвященной слову strada „дорога“ (стр. 309), к указанию из „лат. strata (мощеная дорога)“ Диц добавляет: „т. е. via (дорога, покрытая камнем)“, то это происходит не потому, что ему важно вернуться к понятию, которое имел в сознании первый создатель этого слова, но только для того, чтобы оправдать предложенное им происхождение слова. Такова же установка романского этимологического словаря Мейер-Любке², где в начале каждой статьи отмечается латинская, германская или арабская форма, от которой произошли соответствующие романские формы, например:

971. basiāre „целовать“, макед. băšare, вельют. bissuor, ит. baciare;

970. baschārah (араб.) „добрая весть“, прованс. alvistra, исп. albricias „чаевые за хорошие вести“, португ. alviçara.

¹ Скр. karpū'ras.

² „Romanisches Etymologisches Wörterbuch“, изд. 3, Гейдельберг, 1935

970 a. bas *drinken* (голл.) „обильно пить“, лъеж. *bastringuer* „небрежно работать“. Производные: фр. *bastringue* „увеселительная пляска в трактире, трактир, шум“.

Для романских языков известен благодаря прямой преемственности их основной источник — латынь. Но мы не знаем его для языковых семей, как, например, индоевропейской, у которой так называемый материнский язык-основа, постулируемый путем сопоставлений, известен нам только благодаря попыткам реконструкций. Сейчас этимологический словарь индоевропейских языков имеет другой вид, чем работы Дица и Мейер-Любке, поскольку в нем слова сопоставляются не в их цельности, а в основных элементах, обычно в „корне“; так, в словаре Вальде и Покорного¹ можно найти статью такого рода (I, стр. 111): *eus* „жечь“, скр. *oṣati* „сжигает“, причастие *uṣṭa-* (=лат. *ustus* „ожженный“), *uṣṭa-* „горячий“; гр. *εἴω* „обжигаю“, аорист *εἴσαι*; лат. *ūtō*, -*ege*, *ustus* (согласно которому *ussi*) „жечь, сжигать“ (переходный глагол), *ambūtō*=*ἀμρέω* „обжигаю“.

Такой метод составления словаря обусловлен двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что вследствие значительного удаления индоевропейских языков от их прототипа и различия между разными его диалектами, конечно, гораздо большего, чем различие между диалектами вульгарной латыни в эпоху соответствующего, всегда относительного единства, сопоставление целых слов возможно только изредка и оставило бы неразъясненными многие слова разных исторических языков; во-вторых, тем, имеющим чисто историческую природу обстоятельством, что индоевропейское языкознание в лице первых своих приверженцев, плохо отдававших себе отчет в том, что „материнский язык-основа“, который восстанавливался путем сопоставлений, был только языковой стадией (между IV и III тысячелетиями до н. э.), последовавшей за целым рядом других², смело ставило перед собой задачу найти происхождение элементов, из которых состоял названный язык, добираясь таким путем (в определенных пределах) до происхождения языка.

¹ Alois W a l d e, *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen* (herausgegeben und bearbeitet von Julius Pokorný), 3 тома, Берлин и Лейпциг, 1927 — 1932

² Любопытно отметить, что эта иллюзия бессознательно возрождается и у современных лингвистов, которые вновь пытаются установить происхождение индоевропейского языка при помощи весьма хитроумных методов; я имею в виду Германа Гирта, Бенвениста и др.

«Я предполагаю дать в этой книге сравнительное и охватывающее все, что есть общего, описание организма называемых в заглавии языков и исследование их физических и механических законов, равно как исследование происхождения форм (т. е. окончаний и суффиксов), которые обозначают грамматические отношения. Оставим незатронутой только тайну корней или причин называния основных понятий; мы не ищем, почему, например, корень *I* обозначает „идти“, а не „стоять“, или почему группа звуков *STHA* или *STA* обозначает „стоять“, а не „идти“¹» — так начинает предисловие к своей сравнительной грамматике основатель индоевропейского языкознания Франц Бопп, называвший „расчленяющим“, *zergliedernde*, свое рассмотрение языка, усвоенное им у индусов, как мы увидим это в одной из ближайших глав². Потт, который талантливо и с успехом сравнивал лексику индоевропейских языков, сделал такое вступление ко второму изданию своих „Этимологических исследований“: «При переработке моих „Этимологических исследований“ одна из главных задач, которые я поставил перед собою, заключалась в том, чтобы изучить индоевропейские языки в поисках важнейших их основных элементов и составить... их перечень, не слишком неполный и хорошо упорядоченный» (стр. VIII). И далее (после указания, что он займется предлогами): „Для полного и достаточного понимания таких лингвистических *буката* (слов)... необходимо и неизбежно, выражаясь языком химии и беря еще одно сравнение из этой области, анатомо-физиологическое исследование их самой внутренней и скрытой ткани. Но единственная дисциплина, которая может достигнуть этого, применяемая, разумеется, тем, кто на это способен, этимология, должна перестать быть красивой выдумкой, развлекающей на какой-то момент, как в лучшем случае остроумная игрушка... Для каждого лингвистического исследования, которое не хочет оставаться поверхностным, выяснение в свете этимологии ткани и смыслового значения слова (т. е. корня!) и его привесков (суффиксы и окончания) является одним из необходимых

¹ Franz Bopp, *Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gotischen und Deutschen*, Berlin, 1833 и сл.

² „Vergleichende Zergliederung des Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen“ — так назвал Бопп свои пять научных записок, появившихся в „Abhandlungen der hist.-phil. Klasse der konigl Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ между 1826 и 1832 гг.

рычагов...“ (стр. XIII)¹. Как видно, задача эта чисто грамматическая, и интерес обращен здесь к форме, хотя Потт и приводит (стр. XV) некоторые слова поэта Виланда², напоминающие идеи стоиков, но подкрепленные новыми теориями, провозглашенными Гердером в отношении языка и литературы как продуктов национальной души, — слова относительно этимологии, „заключающей в себе самые священные наставления человечества, самые важные истины и самые достоверные памятники наиболее древней истории“.

Впрочем, эта тенденция к анализу слова постепенно угасала, то ли потому, что с каждым днем становилось яснее, что нельзя серьезно говорить о том, чтобы вскрыть в индоевропейском языке первоначальную языковую стадию, то ли потому, что интерес перемещался от реконструкции „материнского языка-основы“ к взаимоотношениям между ним и историческими языками и вообще к формальному происхождению различных элементов в них. Курциус, который во многих отношениях является посредником между Боппом и Поттом, с одной стороны, и младодрамматиками — с другой, говорит в начале своих „Grundzüge³ о „стремлении исследовать происхождение слов и их взаимные отношения или — как это столь удачно выражено в названии нашей науки — найти ётюю, сущность, подлинное и настоящее содержание“. Он говорит: „Этимология содержит в себе все очарование тех наук, которые рассматривают возникновение и развитие великих продуктов природы и духа“ (стр. 3). Однако в дальнейшем он ограничивается „вполне обоснованным сравнением греческого слова, вместе с родственными ему или производными словами в греческом же языке, с реально существовавшим санскритским, латинским, германским, славянским... словом. Возможно, что со временем больше приподнимется завеса, распостершая над истоками индогерманской языковой формации“ (стр. 43).

Последующие (после Курциуса) этимологические словари и этимологическая практика, начиная с эпохи младодрамматиков и до наших дней, все больше занимались именно поисками соответствий между словами различных

¹ Aug. Friedr. P o t t, *Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen*, изд. 2, т. 1, 1859.

² „Teutscher Merkur“, 1777, стр. 186.

³ Georg Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie*, изд. 3, Лейпциг, 1869 (текст в этих местах совпадает с первым изданием).

индоевропейских языков, относя их к реконструированной индоевропейской форме: к слову, если это позволяло качество его одноязыковых соответствий (например, скр. áçvas, гр. ἵππος, лат. equos, гот. aíhwa- „лошадь“ и т. д. к *éķos), или, в противном случае, к отдельным элементам слов — корню и суффиксам (например, лат. dictátor „диктатор“ расчленяется на: корень dic-, который имеется в dīco „говорю“ и т. д. и который вместе с deik- из deíkumi „указываю“, diç- из скр. diçati „указывает“ и т. д. восходит к *deik-; глагольный суффикс -tā, происходящий из -to- причастия dictus „сказанный“,ср. гр. χλο-τός „знаменитый“ и т. д., с -ā- производных от имени образований; именной суффикс -tōr-, присущий имени деятеля, который имеется в санскрите, греческом языке и т. д.). «Таким образом,— справедливо указывает Вальтер Прельвиц¹ во введении к своему греческому этимологическому словарю,— в устах компаративиста слово „этимология“ получает несколько иное значение (по сравнению с тем, которое ему придавали античные авторы). Он сочетает слова двух или более языков, принадлежащих к одной и той же семье, и считает, что тем самым создает этимологию». Например, говорит он, нем. Nest „гнездо“ признается равным лат. nīdus и скр. nīfás и все три слова возводятся к реконструируемому и.-е. *nisdos; или нем. Maschine „машина“ возводится к фр. machine, а последнее — к лат. māchina „механизм“, происходящему в свою очередь из гр.-сиракузск. μαχανά (= аттич. μηχανή „сооружение, машина“).

Отметим, что подобные сравнения имеют свое значение. В случае со словом, обозначающим „гнездо“, мы извлекаем из сравнения не только важные данные о развитии звуков в немецком, латинском и санскритском языках и о способе образования именных основ в индоевропейскую эпоху, но и подтверждение того факта, что уже в то время употреблялся специальный термин для обозначения гнезда и различия его от других близких понятий; в случае со словом Maschine вся история понятия, относящегося к развитию культуры, вскрывается историей четверного заимствования (machine также представляет собою заимствование, а не прямое продолжение machina).

¹ Walther Prellwitz, Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache, изд. 2, Геттинген, 1905, стр. IX.

Однако, продолжает Прельвиц (стр. IX), грек, который создал слово *ἐτυμολογία* „этимология“, не был бы полностью удовлетворен этимологией современного лингвиста. Он спросил бы: „А каково же собственное значение этого индоевропейского *nisdos?“ На это, по мнению Прельвица, можно было бы ответить, что данное слово состоит из *nī-* „внизу“ и *sdo-* „сидение“ (корень *sed-* из *sedeo* „сижу“ и т. д.) и обозначает поэтому место, где можно сесть. „Только путем такого ответа, а не чистого сравнения, найден этимон“. И Прельвиц приводит слова Штейнталя¹, который считает, что именно в этом и состоит „огромное значение этимологии как науки для истории человеческого духа — в ознакомлении нас с теми способами, с помощью которых каждый народ воспринимает и создает объекты (понятия о вещах и отношениях)“.

Случай с *nizdos — ясный, и в действительности то, что указывает Прельвиц, является этимологией слова. Но это не значит, что этимологизация слова заключается в доведении его до последних достижимых элементов: она может ограничиться только анализом или, пожалуй, грамматической, морфологической историей. Для этимолога важно знать, как было образовано какое-нибудь слово для обозначения данного предмета. Так, например, тому, кто должен был бы дать этимологию слова *capposciale* „подзорная труба“, достаточно было бы дойти до *cappa* „трубка“ + *occhiale* „глазной“, не занимаясь элементами, которые лежат в основе обеих частей сложного слова; скорее, он должен был бы исследовать, если возможно, почему были выбраны эти два слова, а не другие, какое понятие возникло в сознании того, кто создал слово, какие потребности выражения руководили им при создании слова и т. д.

Для слова *cannone*, как мы видели, Диц удовлетворился перечислением трех значений и сведением его к слову *canna*. Это некоторое упрощение. Прежде всего необходимо установить, о каком *cannone* идет речь (если мы хотим дать этимологию, т. е. выяснить, какое понятие лежало в сознании того, кто первый создал это слово): *cannone* „артиллерийское орудие“, *cannone* „органская труба“, *cannone* „труба гидравлической машины“ или

¹ „Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft“, Берлин, 1871, стр. 425

cannone „инструмент, на который ткач наматывает нить“ и т. д., поскольку это различные слова, если под словом мы понимаем не только определенный фонетический комплекс, но также его отношение к обозначаемому предмету или событию.

Остановимся на первом значении. Вероятно, это слово возникло в Италии, как на это указывает, например, французский этимологический словарь Блоха и Вартбурга¹: в нем отмечается в качестве даты наиболее древнего появления этого слова во Франции — 1339 г., тогда как по моим сведениям, относящимся к Италии, постановление коммуны г. Флоренции от 11 февраля 1326 г. уже говорит о canones de metallo² „металлических трубах“. Можно ли сказать, однако, что итальянец, создавший это слово, думал только о большой трубе (*canna* + суффикс -one)? Нужно было бы посмотреть, не являлось ли уже живым в ту эпоху употребление слова *cannone*, например для обозначения орудия ткачей, и не было ли названо метафорически его именем артиллерийское орудие; в этом случае мы имели бы такую этимологию: *cannone* „артиллерийское орудие“ из *cannone* „инструмент ткачей“. Этот процесс, в результате которого слово, указывающее на какую-нибудь вещь, метафорически начинает указывать на другую вещь [например, переход от *mensa* „накрытый стол“ к *mensa* „еда“, от него к *mensa* „организация по снабжению едой определенной группы лиц“ (*mensa ufficiali* „офицерский стол“, откуда современное *mense del popolo* „общественное питание“) и, наконец, к *mensa* „ помещение, в котором эти лица собираются для принятия пищи“], в сущности аналогичен тому, как если бы кто-либо из слова *canna* создал *cannone* или из *nī* + *sed-* + *o* — слово **nīzdos*, где морфологическая часть служит для этимолога при установлении значения только указателем пути, по которому он должен идти в своих исследованиях. Случай этот аналогичен тому, о котором говорит Кроче³, а именно, о любовном сонете Танзила, включенном Джордано Бруно в „*Eroici furori*“ с небольшой поправкой, но измененным полностью смыслом (речь идет о желании героя познакомиться с героиней), так что можно по праву

¹ „Dictionnaire étymologique de la langue française“, Париж, 1932.

² „Enciclopedia Italiana“, т. IV, стр. 493.

³ Benedetto Croce, Problemi di estetica e contributi alla storia dell'estetica italiana, Бари, 1910, стр. 136 и сл.

сказать, что он принадлежит, скорее, не Танзилу, а Бруно. Конечно, этот случай в широком применении — редчайший в истории литературы (чаще это относится к стилю или выражению), но весьма частый в истории языка.

Вернемся к другому слову, рассматриваемому Дицем,— сапарé (форма сапорé появляется у Сальвини). Хотя согласно этимологическому словарю Мейер-Любке (№ 2153) это слово возникло сначала в итальянском языке и отсюда уже перешло во французский, испанский и португальский, однако я считаю, что правы Блох — Вартбург, указывая на Францию как на родину этого слова: здесь оно появляется впервые в 1650 г.; первое итальянское его засвидетельствование, как указывает Томассео, принадлежит Антону Мария Сальвини (следовательно, появляется в Италии несколько десятилетий спустя), распространяется же оно в Италии лишь между концом XVII и первой половиной XVIII в. Как указывают Блох — Вартбург, слово это восходит к средневековому лат. сапареи^ш, которое, однако, означает только „балдахин“ (ср. у Дюканжа). Вероятно, между обоими этими словами в качестве промежуточной стадии (насколько я знаю, недокументированной) было третье слово, обозначавшее „кровать“ или „диван под балдахином“. В свою очередь сапареи^ш (в вокализме которого обнаруживается влияние сапарис „кононля“) может быть возведено к сопореи^ш „сетка от комаров“, последнее — к гр. χωυρπέτου „сетка от комаров“, происшедшему от χώρψ „комар“. Таким образом, даже при обобщенном изложении этимолог мог бы отметить здесь ряд этимологий: не только этимологию, относящуюся к процессу, в результате которого из χώρψ образовалось χωυρπέτου для обозначения „сетки от комаров“, но и ту, которая объясняет, почему сопореи^ш стало означать „балдахин“ и т. д. Но и этого мало. Если кто-либо взял греческое слово и ввел его в обиход латинского языка или кто-то другой взял французское слово и ввел его в итальянский язык, то тем самым было образовано латинское или, соответственно, итальянское слово, т. е. была дана исходная точка для этимологии. На этом мы прервем рассмотрение задач, которые должен ставить перед собой этимолог, и перейдем к исследованию вопросов о природе того, что мы называем языком; только после этого (в конце гл. III) мы сможем точно определить, что следует понимать под этимологией в современном языкоизнании

II

ЯЗЫКИ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ПОНЯТИЕ „ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ“

Фердинанд де Соссюр, хотя и не первый, весьма отчетливо провел различие между речью (*parole*), т. е. рожденной способностью каждого человеческого существа выражать свои мысли, языком (*langue*), т. е. тем, что мы под ним подразумеваем, говоря о языке итальянском или латинском, о диалекте абронциком или жаргоне гетто и т. д., и речевой деятельностью (*langage*), которая является индивидуальным языковым актом¹. Оставляя в стороне первое понятие, рассмотрим сейчас природу двух остальных, т. е. исторического языка и индивидуального акта, и их взаимоотношения.

Язык как исторический феномен не существует в действительности; он является такой же чистой абстракцией, как, например, итальянская литература. И подобно тому, как существуют произведения, которые в их совокупности мы называем итальянской литературой, так в действительности существуют только индивидуальные языковые акты, устные или письменные, из которых мы извлекаем понятие о языке итальянском, французском или латинском.

Добавляя к выражению „индивидуальные языковые акты“ определение „устные и письменные“, я тем самым указываю, на какой аспект этих актов мы опираемся, чтобы извлечь отсюда понятие определенного языка, причем я свожу их к одному аспекту — внешнему, конечно,

¹ В речевой деятельности де Соссюр различал: 1) les combinaisons par lesquelles le sujet parlant utilise le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée personnelle; 2) le mécanisme psycho-physisque qui lui permet d'exterioriser ces combinaisons. 1) комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации* (Фердинанд де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 38).

не самому важному. Рядом с ним есть еще внутренний аспект, т. е. психический процесс, в результате которого в данном акте осознания находят свое отражение некоторые существенные моменты (разумеется, существенные для целей представления, которое говорящее лицо создает себе в соответствии со своим суждением), определенным образом комбинируемые, чтобы обозначить, пусть схематично, это осознание. Оба эти аспекта нерасчленимы, даже если этот процесс происходит без материального воплощения индивидом его речи в звуки и знаки; это значит, что индивид обращается здесь к самому себе, и в этом случае нет необходимости произносить звуки или писать буквы. Как бы то ни было, но языковой акт всегда предполагает собеседника, обычно лицо, отличное от говорящего, но также и само говорящее лицо. Можно сказать, что сущность такого акта заключается в представлении, но оно создается в целях сообщения, которое и определяет его форму¹. Подобно этому художник может создать картину в своем воображении, не воплощая ее материально на полотне; но, чтобы эта картина стала произведением искусства, а не оставалась только смутным впечатлением, необходимо, чтобы он продумал ее со всех сторон, представил такой, какой она была бы в материальном воплощении.

Сообщение, которое является актом социальным, требует определенных знаков, с помощью которых говорящее лицо может выразить ощутимым образом свое представление и по которым, восприняв их, собеседник может воспроизвести это представление. Нечто подобное делает художник при помощи красок, которые он кладет на полотно или на стену, чтобы вызвать у зрителя определенные ощущения, произвести нужный эффект. Разница между его деятельностью и деятельностью лица говорящего заключается в том, что картина порождает зрительные впечатления, похожие на образы представляемых предметов,

¹ Здесь мы изменяем несколько теорию К. Бюлера, которыйставил рядом в качестве функций представление и сообщение, к этому он добавлял еще „вызов“, т. е. создание определенного впечатления у собеседника. По моему мнению, это только сопутствующий прием или, если угодно, вторичная функция лингвистического акта. См. изложенное в моей давней работе „Oggetto della glottologia“ („Rendiconti dell'Accademia dei Lincei“, VI, VIII, стр. 137 и сл.; также в книжечке „Saggi di lingua e filologia“, Рим, 1934) по поводу брошюры H. Deme, Was ist Sprache? (Веймар, 1930).

и поэтому она понятна любому, тогда как языковые знаки являются символами, употребляемыми только в определенном коллективе людей: когда я говорю *libro* „книга“, меня поймут только те, кто, как я, соединяют с этим комплексом звуков определенное понятие, тогда как для любого другого индивида эти звуки лишены всякого значения (или имеют совершенно другое значение, если фонетическое целое отвечает в его представлении иному понятию). Поэтому сообщение происходит через посредство тех символов, которыми являются слова; это значит, что слова служат символами, употребляемыми людьми, принадлежащими к данному коллективу, и соответствуют определенным элементам, на которые расчленяется представление.

Языковой акт — это образование, которое создается постепенно не только в своем целом, но также и в своих частях — словах; только последние (как, впрочем, и порядок их следования), выполняя функцию символов, должны быть тождественны словам, употребляемым в языковых актах, совершаемых в определенном коллективе. И это не только потому, что индивиду нужно быть понятым другими людьми, но также потому, что он выучивается говорить (под умением говорить я понимаю не только внешний аспект языкового акта, но также и внутренний, т. е. анализ акта осознания и согласование между собой извлеченных из него элементов — то, что можно было бы назвать диалектизацией) исключительно при помощи слов, встречавшихся в языковых актах других людей — родителей, товарищей и т. д. Ведь при изучении родного или какого-либо другого языка мы не только усваиваем взгляд на мир (*Weltanschauung*), что позволяет нам думать и вступать в общение с другими людьми, но вместе с тем и искусство выражения; эти мироощущение и искусство выражения, которые люди вырабатывают с момента возникновения человечества и передают из поколения в поколение, различаются в зависимости от времени и социального окружения. И средством передачи являются как раз слова и система, которая ими управляет и в них таится.

Но эти слова, которые являются, таким образом, орудием сообщения, создаются постепенно говорящим лицом в языковом акте, создаются в соответствии с выразительными потребностями в данный момент и способностями, которые, с одной стороны, органически присущи индивиду, а с другой — развиваются в нем в результате чтения или

слушания языковых актов других людей. И в этом создании слов он может либо до некоторой степени подражать¹ моделям, усвоенным из чужих или своих собственных языковых актов, либо вводить новые формы в соответствии с этими моделями как в отношении внешнего аспекта, так и в отношении содержания. В свою очередь, эти новые формы могут служить моделями для последующих языковых актов того же самого или других индивидов, которые избегают употреблять слова, уже использованные другими или ими самими.

Таким образом, случается, что многие индивиды при постоянном языковом обмене создают в своих языковых актах похожие слова и употребляют их аналогичным способом; с течением времени они могут отбросить какое-либо слово или ввести новое путем своего рода молчаливого принятия его. Именно совокупность слов и их употребление, которые в общем представляются одинаковыми в языковых актах людей, принадлежащих к определенному коллективу, мы и обозначаем названием „язык“. Говорить о „реальном существовании“ языка было бы то же, что употреблять это выражение применительно, скажем, к флорентийской живописи XV в.; в последнем случае это только способ обозначения совокупности технических и стилистических приемов, которые художники того времени извлекали из созерцания соответствующих творений и, пожалуй, из непосредственного взаимного обучения, чтобы пользоваться этими приемами в своих живописных изображениях, каждый раз новых и потому влекущих за собой видоизменение как этих приемов, так и собственных представлений в области живописи.

Слова и их употребление (иначе, слова и конструкции) образуют, как уже было отмечено, систему, которая объединяет их и делает вполне значимыми. Например, форма *partivo* „я уехал“ воспринимается только как часть системы, в которую входят *-ivi*, *-iva* и т. д., как противопоставление этим конечным слогам, поскольку она яв-

¹ Разумеется, подражание не может быть совершенным, потому что одно и то же слово приобретает различные семантические или функциональные значения в зависимости от контекста, в котором оно употребляется, от аффекта, с которым употреблено, и т. д.; однако в нашем рассмотрении мы должны отвлечься от этих оттенков под угрозой того, что в противном случае мы не сможем выработать понятий, необходимых для логических суждений.

ляется показателем первого лица; в эту же систему входят и *parto* „я уезжаю“, *partii*, *partirò*, *parta* и т. д., которым указанная форма противопоставлена, обозначая определенное время и наклонение; в нее же входит и *partenza* „отъезд“ и т. д., которым эта форма противопоставляется, поскольку она указывает действие в отношении к субъекту и времени; эта система предполагает анализ действительности в отношении субъекта и действия и т. д. Понимаемая, как показывает приведенный пример, на основе противопоставления одного слова определенным другим, эта система усваивается людьми вместе со словами и потенциально хранится в памяти, ожидая своего применения всякий раз, когда производится языковой акт. Говоря, что язык представляет собой совокупность слов и конструкций, в общем одинаковых в языковых актах людей, принадлежащих к определенному коллективу, мы имели в виду также — и прежде всего — присущую им систему, без чего они лишены своего значения. Это значит, что сюда входят и те слова и конструкции, которые хотя практически и не появляются в некоторых языковых актах, но предполагаются системой, в которой они коренятся; например, слово *arrivammo* „мы прибыли“ могло бы никогда не быть произнесено или написано каким-нибудь итальянцем до настоящего времени, но, несмотря на это, оно входило в состав итальянского языка, поскольку с необходимостью предполагалось системой, присущей языковым актам тех людей, которые говорят или говорили по-итальянски. Естественно, наконец, что подобно тому, как нет абсолютного количественного и качественного тождества слов и конструкций в актах говорящих лиц, относящихся к определенному коллективу, так же различны и системы в отдельных актах у отдельных индивидов. В лингвистике мы называем изоглоссами идентичное (в общем) явление, которое возникает во многих языковых актах, во многих диалектах и т. д.¹ в отличие от других; поэтому

¹ Вначале термин „изоглосса“, подобно терминам „изотерма“, „изобара“, „изобата“, „изогинса“, обозначал (и сейчас еще обозначает) линию, отмечающую на географической карте территорию распространения определенного языкового явления; так, например, изоглоссу образует линия, которая очертила бы на карте лингвистическую румыно-болгаро-албанскую территорию как территорию, на которой артикль ставится после имени. Одновременно изоглоссой называется и самое явление.

мы можем определенно сказать, что язык (также и диалект, жаргон) представляет собой систему изоглосс в индивидуальных языковых актах в пределах определенного коллектива.

Эта абстракция, язык, является понятием, необходимым для наших логических построений не только в области языкоznания. Но как применять его на практике, т. е. на каких принципах должны мы основываться, чтобы распознать составные элементы языка — изоглоссы, о которых мы говорили, — и противопоставить один язык другому? Необходимого разграничения *a priori* не существует (кроме критерия взаимопонимания лиц говорящих); можно установить его лишь *a posteriori*, поскольку мы договорились о сущности языковых актов, откуда мы должны будем извлечь характерные изоглоссы; определив эти изоглоссы и сведя их в систему, мы назовем одни из них принадлежащими к данному языку, как входящие в эту систему, другие — не принадлежащими к нему. Эта проблема решается относительно легко, когда речь идет о литературном языке с постоянной традицией, как итальянский язык; однако и здесь можно различать итальянский язык, скажем, XIV в. и язык наших дней, и прекрасно противопоставлять итальянский язык XIV в. языку XVI или XIX вв., итальянский язык Ариосто языку Тассо, лирический и эпический язык Ариосто его же сатирическому и эпистолярному, современный устный и письменный язык центральной Италии языку северной Италии и т. д. В связи с имеющимся разнообразием языковых актов и его возрастанием в условиях пространства и времени такие различия могут безгранично увеличиваться. Разумеется, определение языка будет тем менее ясны, т. е. количество характерных изоглосс будет тем меньше, чем больше мы расширим временные и пространственные пределы того, что мы хотим рассматривать как язык. Например, в современном итальянском языке условное наклонение от глагола *misurare* „измерять“ — *misurererebbe*; но если мы хотим рассматривать как итальянский язык также и язык Данте, то нужно включить в изоглоссы еще форму *misurrebbe*, употребленную в „Чистилище“ (X, 27).

Еще легче решение проблемы, когда речь идет о жаргоне, на котором говорит вообще весьма ограниченный круг людей и который известным образом регламентируется явным соглашением. Но когда традиция не является

относительно строгой, как в итальянском литературном языке, вопрос осложняется. Различать итальянский язык и латынь еще просто; в известный момент литературное использование латыни как языка, употреблявшегося теми, кто более или менее следовал определенному идеалу, прекращается, и проходит несколько веков, в течение которых он вытесняется вульгарной латынью. Изменения, произошедшие в этот период, вызвали такую дифференциацию между этими языками (определенную, в свою очередь, взаимное непонимание между теми, кто употреблял только латинский или только итальянский язык), что отнести какой-нибудь письменный памятник к тому или другому языку не представляет затруднений.

Иное наблюдается в языках с непрерывной традицией, как во французском языке с IX в. до сегодняшнего дня: когда следует говорить о начале среднефранцузского языка и конце старофранцузского, каковы границы между среднефранцузским языком и современным? Установление трех периодов здесь произвольно, и мы не можем обозначить их границы; речь идет только о том, чтобы определить некоторые памятники (некоторые лингвистические акты), характерные для каждого из трех периодов, которые мы условно устанавливаем, и на их основе построить три системы изоглосс, к каждой из которых мы отнесем уже прочие памятники, остерегаясь смешения систем на почве хронологических, стилистических или других признаков.

То же можно сказать и о пространственных различиях, особенно в том случае, когда от языков литературных и национальных, хорошо различимых между собой, мы переходим к диалектам. Следует ли говорить о диалекте Милана, Лоди, Кремоны и т. д. или же о ломбардском? Где кончается ломбардский диалект и где начинается пьемонтский? Где кончаются итальянские диалекты и где начинаются французские? Здесь также (притом преимущественно не на лингвистических основаниях) можно выявить только некоторые диалекты и отметить *a posteriori* их характерные черты. Особенно неточными и неопределенными становятся такие характеристики там, где речь идет о диалекте не отдельной маленькой местности, а целой области. Подобно этому можно составить себе представления (и притом довольно точные) о мужчине и женщине, исходя из различных свойств человеческих особей

мужского и женского пола, которые мы знаем. Но эти различия количественно уменьшаются, когда мы переходим к понятию человека вообще; еще больше они сокращаются, когда, объединяя человека, лошадь и т. п., мы образуем понятие млекопитающего и т. д.

Таким же образом и в таком же смысле мы можем определить некоторые языки, например итальянский, французский, немецкий, или некоторые диалекты, отличие которых от языков состоит только в том, что они употребляются внутри города или области, а национальный язык служит для использования в более широких пределах и для выражения понятий, выходящих за рамки местных интересов. Повторяем, исторические языки — это понятия, несовершенным образом отражающие действительность в ее непрерывном развитии; и именно потому, что они отражают эту действительность как кристаллизацию определенных изменений, мы можем противопоставить их друг другу как вещи различные, даже если они представляют лишь разные моменты единой в основном традиции, как старофранцузский язык, среднефранцузский и современный, о которых говорилось выше.

Из противопоставления и сравнения многих языков можно установить их сходство и различия в общей системе и в отдельных элементах. Иногда это сходство приписывается общим тенденциям человеческой психики; но когда оно заключается в специфических формальных элементах, то его следует приписать историческим причинам, посредственному или непосредственному контакту между людьми, из которых одни говорят на одном языке, а другие — на другом, так что модели из одного языка могли проникнуть в другой или же в оба языка они проникают из третьего языка; это следует понимать как в пространственном, так и во временном отношении. Например, сходство между старофранцузским, среднефранцузским и современным языком объясняется тем, что перед нами единая непрерывная традиция, в которой большая часть языковых моделей передавалась и перерабатывалась людьми разных поколений; то же можно сказать и о сходстве между латинским и итальянским языками. Сходство между итальянским языком и французским обязано частично внесению французских элементов в итальянский язык и итальянских во французский в различные эпохи, а частично — общему усвоению элементов из другого языка — испанского, англий-

ского или греческого; однако и в качественном и в количественном отношениях это сходство больше всего обязано тому, что итальянский и французский языки являются двумя конечными пунктами развития двух традиций, по существу одинаковых, которые восходят к разговорному латинскому языку.

Таким же образом объясняется сходство этих двух языков с испанским, португальским и румынским. Поэтому мы можем сказать, что все названные языки восходят теми элементами, которые являются для них общими и не представляют собой взаимных заимствований или независимых внесений из третьего языка после нарушения латинского языкового единства, к латинскому языку или, лучше сказать, к той совокупности латинских диалектов, которые мы обычно называем вульгарной латынью. Иногда полученные из других языков элементы могут быть многочисленными и важными, как это имеет место в румынском языке, который взял из болгарского не только очень многие слова, но также морфологические и синтаксические элементы; однако, несмотря на это, общий облик румынского языка сохраняет основные латинские черты, и поэтому его обычно рассматривают как язык неолатинский, или романский, т. е. как один из тех языков, которые большинством своих составных элементов восходят через посредство непрерывной традиции к латинскому языку.

Таким образом, мы можем говорить о языковой семье неолатинской, или романской, образованной языками, отвечающими только что указанным требованиям. Подобно этому устанавливается германская семья языков, к которой принадлежат языки немецкий, английский, датский, норвежский, шведский и соответствующие диалекты. Здесь у них нет, так сказать, „материнского языка-основы“; однако через памятники этих языков мы восходим к древним исходным элементам их традиций, где сходство было гораздо больше, то ли потому, что в то время языки эти не сближались особенно с другими языками (как это было у английского языка с французским, из которых второй внес в первый огромное количество неолатинских элементов, не изменивших, однако, существенно первоначальный облик английского языка), то ли потому, что в них не произошли еще такие изменения, как упрощение именной и глагольной флексий; это упрощение достигло в англий-

ском языке крайнего выражения, тогда как в англо-саксонском, древней фазе английского языка, существовали еще склонение и спряжение, весьма похожие на те, которые имеются, например, в немецком языке и еще больше — в древненемецком.

Так же постулировали исследователи (а некоторые из них и сейчас еще постулируют) для германских языков существование общегерманского языка, так называемого „протогерманского“, который был бы для них тем, чем является латынь для языков неолатинских. Но это сравнение применимо только до известного предела. О вульгарной латыни мы знаем, что она возникла благодаря распространению латинского языка в различных *provinciae* „провинциях“ в результате завоевания, совершенного хорошо организованным государством, с администрацией, войском и т. д.; все это было невообразимо для дохристианской „Германии“. Очевидно, речь здесь идет о диалектах, которые по имеющимся у нас сведениям вначале были сходны с теми, из которых возникли латынь, кельтские, славянские языки и т. д. Однако эти диалекты в результате событий, о которых можно только выдвигать гипотезы, претерпели совместно много изменений, не будучи затронуты переменами, аналогичным образом происходившими в других диалектах, так что в конце концов они обладали многими общими изоглоссами, присущими только им, и поэтому выделялись, несмотря на различия, которые продолжали существовать или могли возникать внутри них. Говоря о „германском языке“, необходимо всегда помнить, что он никогда не был таким языком, как классический латинский, в котором изоглоссы, общие для индивидуальных языковых актов, весьма многочисленны и хорошо выявлены, а, скорее, подобно вульгарной латыни представлял собой совокупность диалектов, обладающих гораздо меньшим числом изоглосс, не упорядочиваемых строгой традицией; однако между ним и вульгарной латынью существует и сильное различие, поскольку последняя постоянно подвергалась влиянию литературного и государственного языка, пока существовали администрация, войско, школа, имевшие своим центром Рим.

Подобно германской языковой семье объясняется и наличие кельтской, славянской, иранской и других семей. Однако различные германские языки, кельтские, славянские, балтийские, иранские, латинский, греческий, санскрит

и прочие индийские языки, армянский и т. д., в свою очередь, имеют (особенно на более ранних стадиях) столько сходства между собой — как в лексике, так и в грамматике, — необъяснимого с точки зрения гипотезы взаимных заимствований в недавнюю эпоху, что приходится думать о их происхождении от диалектов, одно время образовывавших единство, подобное тому, которое мы предположили в основе германской языковой семьи, — единство, из которого (а может быть, вначале еще и в лоне которого) возникли, различаясь указанным процессом, единство германское, единство славянское и т. д. Но каждый диалект и даже каждая отдельная языковая традиция могли в процессе образования этих вторичных единств, в свою очередь, сохранить или развить некоторые древние особенности, которые, возможно, были его изоглоссами, общими и для диалектов, вошедших потом в другие единства. Это показывает, насколько ошибочен и чреват заблуждениями метод, опирающийся на ложную идею языковой эволюции, согласно которой все элементы различных германских языков восходят к „протогерманскому“ языку, понимаемому как единый язык, а элементы этого „протогерманского“ языка, аналогичного „протославянскому“ и т. д., рассматриваются как непосредственно вытекающие из „индоевропейского“, т. е. из языка, который постулируют как начало индоевропейских языков (понимая под ними и только что названные и другие языки, например албанский и иллирийский, к которому он восходит, тохарский, хеттский и др.) и который исследователи, приверженцы данного метода, считают строго единым, как и предполагаемые „протогерманский“ и др.

Рядом с индоевропейской семьей языков, образованной таким образом, можно отметить и другие семьи, например семитскую, хамитскую, дравидскую и т. д. Представляется очевидным, что между некоторыми из них существует сходство, объясняемое историческими причинами; так, исследования Кюни, последовавшие за работами других ученых (Г. Мёллера), не оставляют сомнений в отношении общности слов и, может быть, морфологических элементов у семитского и индоевропейского языков¹;

¹ Когда я говорю „индоевропейский язык“ и „семитский язык“, я имею в виду элементы, которые имелись в диалектах индоевропейских, семитских и т. д., когда они составляли единство. Ср. А. Сину, *Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des*

то же показывают в отношении индоевропейского и угрофинского языков исследования Коллиндера и Соважо; Уленбеку удалось установить связи между индоевропейским и эскимосским языками. Но как понимать эти отношения? Некоторые из названных исследователей, особенно Юни, предполагают существование первичного языка, как „протогерманский“ или „протоиндоевропейский“, из которого выделились, с одной стороны, индоевропейский язык, с другой — семитский и т. д. Однако рассматриваемые элементы весьма малочисленны, и соответствующие лингвистические построения сильно отличаются друг от друга; мы не знаем, как возникло единство диалектов индоевропейских, семитских и т. д. Во многих случаях, как мне кажется, эти единства явились результатом сближения различных диалектов, даже совершенно непохожих, пришедших в соприкосновение между собой, подобно тому как две или три языковые группы, совершенно различные по происхождению, настолько сближаются между собой, что можно говорить о „кавказских языках“ как языках, имеющих многие общие элементы, которые придают им вид языковой семьи; подобно этому и балканские языки, прежде всего болгарский, албанский и румынский, внесли друг в друга много элементов, которые придают им общий „балканский“ характер. Уленбек выдвинул гипотезу о том, что в структуре индоевропейского языка слились по крайней мере две структуры совершенно различных языков: одна — типа преимущественно правильного и аналогического, как угрофинский язык; другая — типа преимущественно аномалистического, как некоторые месопотамские говоры¹.

Как бы ни разрешались эти вопросы, но если какой-либо язык включен в данную языковую семью и тем самым установлено, что его основные, традиционные элементы происходят непосредственно из того „языка“ (в указанном выше смысле), к которому он восходит вместе с другими языками той же семьи, то в отношении

langues chamito-sémitiques, Бордо, 1946; B. Collinder, Indo-uralisches Sprachgut, Уппсала, 1934; C. C. Uhlenbeck, Ur- und altindogermanische Anklänge im Wortschatz des Eskimo, „Anthropos“, т. XXXVII—XL, 1942—1945, стр. 133 и сл.

¹ C. C. Uhlenbeck, Oer-indogermaansch en Oer-indogermanen, „Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen“, Af. Letterkunde, Deel 77, Serie A, № 4, Амстердам, 1935.

каждой его формы мы поставлены перед альтернативой: или рассматривать ее как унаследованную и традиционную, т. е. происходящую в конце концов от „материнского языка-основы“, или считать ее заимствованием (либо смешением унаследованного и заимствованного, как, например, ит. *trenino* „маленький поезд“, состоящее из галицизма *treno*, от фр. *train* „поезд“, и исконного суффикса *-ino*). Разумеется, то, что здесь сказано о слове, относится и к частям его, на которые оно может быть расчленено, как в случае со словом *trenino*. Если, однако, какой-либо признак заставляет предполагать, что похожие друг на друга формы в двух или более языках, принадлежащих к одной и той же семье, исторически связаны между собой, а гипотеза о непосредственном или посредственном заимствовании исключается, то приходится считать, что рассматриваемые формы восходят к языку, из которого возникли соответствующие языки, и эта гипотеза должна быть научно проверена. Именно, исходя из таких унаследованных форм, и делались попытки восстановить „материнские языки-основы“ разных семей, опираясь на то общее, что присуще двум или более наречиям, которым эти языки-основы дали начало; эта задача сводится далее к воссозданию системы изоглосс, из которых частично или полностью состояли диалекты, образовавшие первоначальное единство на основе одной языковой семьи.

III

ЗАИМСТВОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ „ЭТИМОЛОГИИ“

В предшествующем изложении мы нередко встречались с понятием заимствования; сейчас мы хотим вернуться к этому понятию и осветить некоторые его аспекты.

Заимствование, в строгом смысле слова, имеет место в тех случаях, когда кто-нибудь включает в свою „речь“ (мы используем соссиорианский термин) новый элемент, взятый у других. Однако в отношении языка мы должны ограничить это понятие, подразумевая под заимствованием новое для определенного языка слово, которое сначала употребляется одним или большим числом индивидов, берущих его из другого языка, а затем уже через посредство индивидуальных актов входит и в систему изоглосс, образующих язык. Например, слово *bracchium* „рука“ — это гр. *βραχίων* „рука“, включенное указанным способом в обиход латинского языка. Заимствование чаще бывает лексическое, но может быть также морфологическое, синтаксическое или фонетическое; так, суффикс позднего вульгарнолатинского языка *-issa*, служащий для образования слов женского рода, представляет собой греческий суффикс *-ισσα*, проникший, вероятно, сначала в лексические пары, как *διάκονος* „слуга“ — *διακόνισσα* „служанка“, лат. *diaconus* — *diaconissa*, откуда говорящие и извлекли этот суффикс. Но иногда морфема, выделенная лицами (говорящими на двух языках) в одном языке, может быть целиком перенесена в другой. Выражение *saucius pectus* „раненный в грудь“ или виргилиевское *Tyrrhenum navigavit aequor* „переплыл Тирренское море“ были поняты Квинтилианом (IX, 3, 17) как кальки с греческого; во французском диалекте Лотарингии более древний *ie* стал *i* (например, в *pied* „нога“, произносимом *pi*) в результате подражания такому же изменению, проис-

шедшему в немецком языке, где звук, произносившийся в средневерхненемецком как ie, перешел в i (например, в liebe „любовь“, произносимом сейчас liebe). Как уже было отмечено, заимствование, как правило, происходит через посредство лиц, говорящих на двух языках, которые в языковых актах, построенных по образцу одного языка, употребляют также отдельные элементы, модели которых заимствованы из другого.

Два языка, в которых происходят взаимные заимствования, могут находиться в самых различных отношениях друг с другом. Так, имели место заимствования из греческого языка в латинский, например aer „воздух“ из ἀέρ, и наоборот — суффикс -арюс из -arius; из латинского в итальянский, например plebe из plebem „народ“ (итальянское слово, перешедшее по традиции из лат. plebem — pieve); из диалекта в язык, например фр. carnassier „плотоядный“ — из провансальского; из национального языка в диалект — случай, весьма распространенный; из одного периода развития языка в другой — таковы многочисленные итальянские слова XIV в., заимствованные нашими современными писателями и ставшие благодаря этому обычными. Здесь, следовательно, надо установить границы, в пределах которых мы усматриваемся рассматривать определенный язык.

Многие лингвисты отмечают, что заимствования происходят тем легче, чем больше два каких-либо языка похожи друг на друга. Поэтому, например, мы очень легко вводим в современный итальянский язык слова, которые относятся к другому веку развития нашего языка, или слова из центрального диалекта, в меньшей степени — из северного; легко вносятся сюда также слова латинские или французские, труднее — английские и немецкие. Разумеется, допуская в свой языковой акт посторонний элемент, говорящее лицо вносит в него, иногда даже не замечая этого, то, что лучше подходит и приспособлено с точки зрения формы и содержания к используемой им системе, особенно когда существуют известные соответствия, облегчающие это приспособление. Например, французскому инфинитиву на -er соответствует итальянский на -are, французскому глаголу на -iser — итальянский на -izzare; отсюда dérailler „сходить с рельсов“ (из rail „рельс“) легко могло быть заимствовано как deragliare (с другим соответствием —

-gli — так называемому фр. *l mouillé*) или, еще лучше, *déclasser* „деклассировать“ — как *declassare* (в железнодорожном жаргоне), где оказало влияние сходство фр. *classe* и ит. *classe* „класс“; таким же образом *organiser* „организовать“ было заимствовано как *organizzare*, образовавшее систему со словом *organo* „орган“.

Немцы обычно различают *Freindwort* „иностранные слова“ и *Lehnwort* „заимствование“. Отвлекаясь от пуристических мотивов, которыми может быть объяснено это различие, нужно признать, что оно отвечает фактическому состоянию, поскольку слово или, лучше сказать, иностранный языковой элемент становится заимствованием только тогда, когда он употребляется в языковых актах отдельных лиц по образцу традиционных элементов и становится поэтому одной из изоглосс в системе, образующей определенный язык. Но раз это произошло, то вопрос о природе этого элемента как заимствования имеет значение только для историка языка; в действительности такой элемент становится подобным, скажем, итальянцу, который, приняв гражданство Соединенных Штатов, хотя и сохраняет следы прежней национальности в своей фамилии, в употреблении родного языка наряду с языком нового окружения, в удержании некоторых привычек и т. д., но уже является с этого времени равноправным членом нации Соединенных Штатов, и такими же будут его дети и потомки. Когда гр. *χόλαφος* „пощечина“ было применено лицом, говорящим по-латыни, в его языковых актах латинской традиции, оно было иностранным словом для латинского окружения, но уже заимствованием для этого лица; когда же в число изоглосс, образующих латинский язык, вошло также *colpus* „удар“, оно стало заимствованием из греческого языка в латинский, но только для историка: для лиц говорящих оно было латинским словом в не меньшей мере, чем *pater* „отец“, которое является традиционным начиная с индоевропейской эпохи; отсюда видно, что понятия „унаследованный“ и „заимствованный“ соотносительны с определенными временными пределами. Мы можем сказать поэтому, что каждый индивид создает свою „речь“ (т. е., в соссюрианском смысле, запас слов и конструкций, накопленных в его памяти) с помощью заимствований, за исключением тех случаев, когда он сам образует новшества; отметим, что как в использовании заимствований из иностранного языка, так и

в употреблении собственных нововведений он должен учитывать потребности общения, т. е. понятность или, по крайней мере, приемлемость употребляемого им нового элемента для окружающей среды. Что касается побуждений, по которым он вводит этот новый элемент, то они могут быть различны, например: необходимость найти термин, определяющий новый для данного коллектива предмет, или желание изъясниться при помощи слова, взятого из языкового окружения и представляющего в глазах говорящего лица большую ценность, чем его собственное слово; можно сказать даже, что указанные необходимость и ценность являются основными моментами каждого лингвистического нововведения, которые влияют также на его распространение, т. е., в указанном выше смысле, на степень его заимствования новыми индивидами. Чтобы покончить с вопросом об индивидуальном заимствовании, отметим, что здесь получают свое выражение все влияния, которые один язык оказывает на другой.

Вернемся теперь к понятию „исторический язык“. В каждом из них элементы, из которых он состоит, представляют собой в конечном итоге многочисленные заимствования самого различного происхождения, возникающие в языке всякий раз, когда это возможно. Например, итальянский язык вобрал в себя слова и конструкции французского, немецкого, испанского, английского происхождения и т. д., ранее — арабские, германские и т. п. Если мы еще больше углубимся в историю языка и перейдем к латинскому языку, то увидим, что в нем сливаются элементы языков, которым он пришел на смену, и, кроме того, элементы средиземноморские, этруssкие, греческие, семитские и др. Но сам латинский язык является конечным пунктом развития традиции, давшей начало определенным индоевропейским диалектам, которые, несомненно, вобрали в себя слова и конструкции как из языков неиндоевропейских, так и из других индоевропейских диалектов, и т. д., вплоть до языка первых говорящих людей, до которых реально доходит языковая традиция; одним из звеньев ее и является итальянский язык. Нововведение и заимствование представляют собой два процесса, в которых проявляется все языковое развитие; отметим, что их следует толковать как в положительном, так и в отрицательном смысле, т. е. как включение или как уст-

ранение какого-либо элемента в определенном языке, что часто взаимосвязано, причем второе зависит от первого.

* * *

Перейдем теперь к определению некоторых критериев, служащих для установления заимствований в каком-нибудь языке, т. е. появляется ли (как это было показано выше) данный элемент в результате непрерывной и прямой традиции из другой языковой стадии (например, какое-нибудь итальянское слово из латинского языка, латинское слово из „индоевропейского языка“), или же он проникает в последующую эпоху из другого языка. К первым случаям мы относим, разумеется, и те факты, когда рассматриваемый элемент введен недавно, но образован из унаследованных элементов; например, ит. tavolino „столик“, восходящее при конечном анализе к лат. *tabula* „доска, дощечка для письма“ и латинскому же суффиксу *-i*po. При этом возможны два случая: либо рассматриваемый элемент встречается только в одном определенном языке (или, что то же, и в тех языках, в которые он проник из данного языка), либо он встречается не только в нем. В первом случае решение вопроса чаще всего невозможно или по крайней мере весьма неопределенно: могут выдвигаться только гипотезы, основанные на каком-нибудь формальном признаке, фонетическом или морфологическом. Если, например, в латинском языке мы находим слова со звуком *f* в середине слов, то, поскольку в этом языке спиранты в данном положении упразднены и заменены взрывными звуками (*b*, *d* или *p*, *t*), то, надо полагать, эти слова проникли в него после того, как произошло указанное упразднение; и если в греческом языке мы находим слова с неизвестным всем другим индоевропейским языкам суффиксом, например *-υδος*, причем эти слова в своей корневой части изолированы в греческом языке по соответствуанию с другими индоевропейскими языками, то это значит, что их следует отнести к додревескому языку исторической Эллады.

Во втором случае возникают две возможности: или язык, в котором появляется новый элемент, является родственным тому языку, которым мы занимаемся, или же они принадлежат к различным языковым семьям. Если эти языки принадлежат к разным семьям и если тот или

иной элемент слова в языке, которым мы занимаемся, не был заимствован другим языком (что исключено нашими предпосылками), то речь может идти об обратном заимствовании; таков, например, случай, с лат. *sufes* „суфет“ из тождественного карфагенского слова, обозначавшего высшее должностное лицо. Конечно, здесь возможно и усложнение, а именно, иностранный язык, привлеченный для сравнения, сам мог заимствовать то или иное слово из языка, принадлежащего к той же семье, что и язык, которым мы занимаемся, но затем этот язык исчез или по крайней мере утратил такое слово. Если, наоборот, оба языка принадлежат к одной и той же семье, то дилемма „унаследованное или заимствованное?“ предстает во всей полноте.

Если же элемент, подлежащий исследованию, встречается в одном или нескольких языках, находящихся за пределами того, который является объектом рассмотрения, но родственных с ним, тогда в нашем распоряжении имеются два критерия: один я назову историко-филологическим, другой — формальным. Первый заключается в изучении истории слова по памятникам, в которых оно зафиксировано, или в рассмотрении истории обозначаемого предмета. Так, среди слов, общих для греческого и латинского языков, тотчас же распознаются как заимствованные из первого вторым такие слова, как *amphora* „амфора“ из ἀμφορεύς, *ancora* „якорь“ из ἄγκυρα, *cratera* „кратер“ из κρατήρ, *lautumiae* „каменоломни“ из λαοτομίαι, *machina* „машина“ из μηχανά (дорическая форма из μηχανή), *paenula* „пенула, теплый плащ“ из φαινόλης, *platea* „улица“ из πλατεῖα, *sona* „пояс, зона“ из ζώνη или, еще лучше, в тех случаях, где заимствование было более поздним и где, следовательно, лучше сохранился облик слова: *architectus* „строитель, зодчий“ из ἀρχιτέκτων, *bal(i)neum* „баня“ из βαλανεῖον, *bulbus*, „луковица“ клубень“ из βολβός, *cissipit* „сердцевина плода с семечками“ из κισσῆς, *cetus* „морское чудовище“ из κῆτος, *suspis* „лебедь“ из κύκνος и т. д. Точно так же мы знаем по античным источникам, что *balteus* „кайма, пояс“, *mantis* „добавление, доход“ заимствованы из этруссского языка, *cypiculus* „кромка“ — из иберийского или, точнее, испанского, и т. д. Часто историко-филологическое исследование дополняется формальным, поскольку некоторые звуки или формы, присущие греческому языку, чужды латинскому; например,

если бы сущн „лебедь“ было унаследованным латинским словом, оно бы звучало **cugnus* или **cignus*.

Второй критерий, формальный, состоит в установлении того, может ли слово с точки зрения фонетической и морфологической рассматриваться как унаследованное в том смысле, что оно восходит по прямой традиции к определенной предшествующей стадии языка; это имеет значение для тех случаев, когда предшествующая стадия, а также фонетические и морфологические нововведения, которые имели место в традиции, связывающей эту стадию с рассматриваемым языком, известны. В первую очередь это важно для сопоставления слов из двух языков, принадлежащих к одной и той же семье. Возьмем, например, *całx* „известъ“ и *χάλιξ* „известковый камень“. Предположение, что оба эти слова являются продолжением одной и той же индоевропейской формы, поскольку лат. *c-* предполагает и.-е. *k-*, которое в греческом языке дает *χ-*, полностью исключается; наоборот, *χ-* предполагает *għ-* или *kh-*, которые переходят в лат. *h-*. Чтобы рассматривать оба слова как унаследованные, мы должны были бы иметь пары **halx* — *χάλιξ* или *całx* — **χάλιξ*. Следовательно, одно из них является заимствованием: *χάλιξ* не могло произойти из *całx*, потому что начальное лат. *c-* воспроизводится греками при помощи *χ-*; наоборот, греческие глухие аспираты (*χ*, *ψ*, *φ*) воспроизвелись в латинском языке в республиканскую эпоху соответствующими глухими согласными (*s*, *t*, *p*).

Аналогичное рассуждение применимо и для *amp(h)ora*, *ἀμφορέύς* „амфора“: греческое внутреннее *-ψ-* восходит к и.-е. *-bh-*, которое в латинском появляется как *-b-*; кроме того, мы находим здесь ясное образование греческого слова (гаплологически оно возникло из *ἀμφιφορέύς* „который имеет две ручки“), тогда как в латинском языке *amp(h)ora* полностью изолировано и непонятно. Второй критерий мог бы иметь значение для *χρατήρ*, *crātēra* „крайтер“: фонетически оба слова могут быть возведены к одной индоевропейской форме, но гр. *χρατήρ* явно является именем деятеля из *χεράννυμι* „смешиваю“, перфект *χέ-χραμαι*,ср. *ἄ-χρα-τος* „несмешанный“ и т. д. И если бы даже историко-филологические доводы не убедили нас в этом, достаточно было бы обратиться к морфологии, чтобы выявить в *cratera* заимствование из соответствующего греческого слова. В случае с лат. *dacrūta* „слеза“ (откуда

lacruma, -ima) и гр. δάκρυμα „слеза, плач“ могут возникнуть сомнения; и действительно, многие ученые предполагали происхождение обеих форм из одной индоевропейской основы, тем более что и.-е. *dakru выявляется в др.-ирл. dér, гот. tagr и т. д. Однако расширение основы на -и- посредством -та- — вещь неслыханная в латинском языке. Поэтому мы должны рассматривать lacruma как заимствование из гр. δάκρυμα, происшедшего в свою очередь из δάκρυω „плакать“, деноминативного образования из δάκρυ с последующим переходом в женский род, вызванным конечным -а, и с укорочением υ, как в ancora „якорь“ из ἀγχύρα, чтобы сохранить первоначальное ударение.

Аналогичные соображения заставляют нас рассматривать как заимствования из французского языка, а не как прямое продолжение латинских слов такие итальянские слова, как gioia „радость“ из joie, восходящего к gaudia „радость“, и mangiare „кушать“ из manger, восходящего к manducare „жрать“, потому что перед *a* латинский заднеязычный звук палатализовался во французском языке, но сохранялся в итальянском (прямым продолжением являются др.-аквиланск.¹ gagiu, астиджанс.² goz, и, соответственно, древнее manducare, давшее manicare, др.-миланск. mandegare). Подобно этому plebe „плебс“ является заимствованием из латинского, потому что в прямой итальянской традиции лат. pl- заменилось ri- (отсюда из plebem — pieve „приход“, как piazza „площадь“ из platea „улица“, pianta „растение“ из planta и т. д.); ingegnere „инженер“ — из ст.-фр. engigniere, потому что латинский суффикс -ario отражается в итальянском в виде -aio (если бы слово возникло в итальянской традиции, то оно было бы *ingegnaio). Наоборот, если во французском языке мы находим carogne, а в итальянском carogna „падаль“, то первое слово является заимствованием из итальянского, потому что лат. ca- воспроизводится во французском при помощи cha- (таким образом, в прямой французской традиции мы имеем форму charogne — продолжение вульг.-лат. *caronia)³.

¹ Провинция в Абруццах. — Прим. ред.

² Округ Асти в северной Италии. — Прим. ред.

³ Блох — Вартбург (I, стр. 124) рассматривают, наоборот, carogne как заимствование из нормандского или из пикардского языков; действительно, оба эти диалекта продолжают лат. ca- в виде -са.

Разумеется, оба отмеченных выше критерия должны взаимно подкреплять и дополнять друг друга. Гр. κάνναβις „конопля“ воспроизводится в латинском языке как *cannabis*, в англосаксонском как *hœper*, в древневерхненемецком как *hanaf*. С формальной точки зрения трудно было бы возражать против восстановления здесь и.-е. *kannabis, откуда могли произойти эти слова; правда, можно было бы ожидать в латинском *cannibis, но срединное *a* после начального ударяемого *a* мы находим также в *calamus* „тростник“, *anatis* „утка“ и т. д., почему трудность эта не представляется непреодолимой. Однако мы знаем, что конопля стала известна грекам только в конце V в., приddy к ним с востока через посредство скифов; Геродот (IV, 74) говорит о ней как о вещи мало известной. Поэтому исключено, что народности, говорившие на „индоевропейском языке“, знали это растение, которое вместе со своим названием пришло из Греции в Рим и было занесено греческими колонистами в южную Галлию; его плантации на Роне были уже известны в III в. до н. э. (Атеней, V, 206 и сл.). От галлов его получили германцы; это значит (впрочем, это уже известно), что переход *k* > *h* и *b* > *p* (откуда, позднее, нем. *f*) в германских диалектах имел место после включения слова в виде *kannabis* „конопля“, которое могло затем претерпеть те же изменения, как и слова прямого индоевропейского происхождения.

Второй случай, частично аналогичный этому, следующий: лат. vīnum „вино“ соответствует в греческом языке οἶνος (*Goînos*), в армянском *gini*, в албанском *venë*, причем все эти слова могли бы восходить к и.-е. *ցօլո- (армянское — к производному *ցօլ-իօ-, албанское — к *ցօլնա). Однако вино является средиземноморским продуктом: его родина находится „в лесных и горных местах Армении, южного Кавказа и на пограничных малоазиатских территориях¹; и наоборот, на большей части территорий, где мы представляем себе существование индоевропейских диалектов до их дальнейшего распространения, виноградная лоза не прививается. Во всяком случае можно было бы думать, что самый предмет и соответствующее слово проникли в эти диалекты с иноязычного юга в самые

¹ Ed. Hahn, см. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, XIV, стр. 266.

древние времена. Однако тот факт, что из индоевропейских языков это слово¹ знают только те из них, которые дошли до Средиземного моря, а, с другой стороны, оно встречается и в семитских языках (араб. и эфиоп. *wain*, др.-евр. *jajin*, ассирийск. *išnu*), убедительно показывает, что указанное слово было усвоено там этими индоевропейскими народами. Остается рассмотреть лишь, не происходит ли *vīpīm* из гр. *φέύς*, а последнее — из доарм. ²**զօինո-*, как предполагал Шрадер², который видел в „понтийском“ слове образование из индоевропейских элементов, пришедшее из Армении на полуостров Балканский и Италийский, а с другой стороны — к западным семитам; или не пришло ли *φέύς*, как и другие слова, к латинянам через посредство иллир. ³**զօինā*, предполагаемого албанским языком, и т. д. Однако Мейе⁴ и с ним Гирт⁴ и др. считают, что это слово было независимо взято упомянутыми выше индоевропейскими и семитскими языками из одного общего источника — из языков, на которых говорили в средиземноморском бассейне до прихода индоевропейцев и семитов, т. е. из так называемых средиземноморских языков.

Проблема эта сложная, и мы не пытаемся разрешить ее. Наоборот, в случае с лат. *olīva* „олива“, *oleum* „оливковое масло“ по отношению к гр. *ἐλαῖ(F)α*, *ἔλα!(F)ου* вопрос представляется ясным: оливковое дерево растет только на средиземноморском побережье, почему и название его не может быть индоевропейским. С другой стороны, латинские формы превосходно объясняются здесь греческими путем фонетических изменений (*el>ol* перед глухим гласным, в данном случае перед -a-; *ai, ei>i* в середине слова), имевших место между V и III вв. до н. э.; поэтому несомненно, что греки познакомили римлян как с самим предметом, так и его названием.

Совершенно другим является случай, отмеченный прежде всего Мейе. Сопоставим некоторые греческие и латинские слова с тем же значением:

¹ В других местах оно является поздним заимствованием из латинского языка, прямым или косвенным; таковы ирл. *fín*, иот. *wein* и, через посредство германских языков, лит. *vynas* и слав. *vino*.

² „Sprachvergleichung und Urgeschichte“, II, изд. 3, стр. 50, 254 и сл.

³ *Egnout-Meillet*, стр. 1111 и др.

⁴ „Die Indogermanen“, стр. 669.

χάπτηος	caupo	„мелкий торговец, трактирщик“
μαλάχη	malva	„мальва“
μίνθη	menta	„мята“
παλλαχή	paelex	„наложница“
ἄμπελος	pampinus	„виноградные листья“
ταώς	pāvō	„павлин“
ἄπι(σ)ος	pirus	„грушевое дерево“
ρόδον	rosa	„роза“
σεμιδαλίς	simila	„тонкая пшеничная мука“
σῦκον, τῦκον	ficus	„смоковница“

Перед нами слова, сходство которых нельзя отрицать; однако фонетический анализ этих слов определенным образом показывает, что в каждом из обоих языков они или восходят к общему индоевропейскому источнику, или перешли из одного языка в другой. Повидимому, они прошли в греческий и в латинский языки из других языков — средиземноморских, о которых говорилось ранее в связи со словом *vīnūnī* „вино“ и которые, будучи нам непосредственно незнакомы (за исключением некоторых древних языков, как ликийский, карийский, этеокритский, относительно которых мы располагаем лишь скучными документами), постулируются и в некоторых чертах восстанавливаются именно благодаря тем реликтам, которые сохранились от них в языках, заменивших их на исконных их территориях, особенно в греческом языке и в латинском вместе с романскими языками.

Иногда, однако, слова являются греческими, перешедшими затем в латинский с некоторыми необычными изменениями их формы. Как правило, в этих случаях переход происходил косвенно, через посредство другого языка, чаще всего этрусского, особенно когда отмечаются изменения, обычные для дальнейшего развития этого языка; так, в апи́гса „осадки“, *catamītūs* „любовник“, *spēlunca* „пещера“, *sporta* „корзина“, *taeda* „сосна, факел“, *trīunpris* „триумф“ соответственно с ἄμφη, Γανυμήδης „Ганимед“ (этрусск. *Catmīte*), вин. п. *st̄p̄l̄yugγa*, *st̄p̄or̄d̄a*, *daid̄a*, *θr̄laum̄z̄os*, мы находим характерное для этрусского языка явление замены звонкого звука глухим; в *exceṭra* „змея“, *grōnia* „земледельческий измерительный инструмент“ в сопоставлении с єχ:δ्यa, γυः्मa мы имеем г вместо п, как в этрусск. *Aγamēm̄w̄ou* вместо 'Αγαμέμων „Агамем non“; *lanterna* „фонарь“ из λαμπτήρ „светильник“ представляется нам с ха-

рактерным этрусским суффиксом -na (по образцу *lanterna* образованы *lucerna* „лампа“, *cisterna* „водоем“ и т. д.); переход из *Περσεφόνη* „Персефон“ в *Proserpina* „Прозерпина“ произошел через этруск. *Prosepnai*.

* * *

До сих пор мы изучали заимствования слов как по форме, так и по содержанию. Но в категорию заимствований входят также и кальки, которые являются заимствованием по содержанию, т. е. словами и конструкциями, образованными из исконного материала, но в соответствии со структурой, привнесенной извне. Классическим образом является наше слово *ferrovia* „железная дорога“; это слово подобно другому — *strada ferrata* „железная дорога“, имеющему свой прототип во фр. *chemin de fer*, — не только возникло из образа, послужившего в другом месте основой для создания слова с целью обозначить определенный предмет, но и представляет собой явное подражание нем. *Eisenbahn* „железо + дорога“, которое для немецкого языка является в такой же мере нормальным словосложением, в какой ненормальным, с точки зрения итальянской морфологии и практики словообразования, является *ferrovia*.

Калька может быть также синтаксической; вернее, в синтаксисе заимствование может иметь место только как калька. Однако мы ограничимся здесь лишь рассмотрением некоторых лексических калек. Они часто встречаются у писателей, подражающих стилю иностранных произведений; например, старые римские поэты, пытаясь создать поэтический латинский язык, образовали много сложных слов чужого латинскому языку типа, представлявших собой кальки с греческого. Так, у Энния мы находим между прочим *altivolantes* „птицы“ из Гомер. ὄφιπέτης „высоко летающий“, *suaviloquens* „сладкоречивый“ из Гомер. ἡδυεπής, *altitonans* „высокогремящий“ из Гомер. ὑψιβρεμέτης¹. Некоторые из этих и подобных им сложных слов стали обычными в латинском языке, например *magnanimus* „великодушный“ или *longanimus* по образцу μακρόθυμος; за пределами поэтического языка появляется *duracinus* „толстокожий“ по об-

¹ Ср. у Энния также такие выражения-кальки с греческого, как *sancta dearum* (Vahlen, 64) и *magna dearum* (185), — оба в конце стиха по образцу δῖξ θεάων „величайшая из богинь“, а также *divom rater atque hominum* тех, сказанное о Юпитере (64), как Гомер. πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε „отец людей и богов“.

разцу *σκληρόχοκκος*. Помимо словосложения, мы находим и такие случаи, как просторечное лат. *cortina*, откуда наше *cortina* „ занавеска“, которое не имеет ничего общего с *cortina*, обозначавшим „котел“, и было образовано, как отмечает Турнейзен¹, из *cors*, *cortis* „двор“ согласно отношениям гр. *αὐλαῖα*, *αὐλεῖα* „ занавес“ с *αὐλή* „двор“; это новообразование исконного характера заменило заимствование *aulaeum* „ занавес“, *aulaea*.

Аналогичной является калька, состоящая из одного слова, которое принимает на себя значение соответствующего иностранного слова; например, *mundus* „мир“, воспринимавшееся как эквивалент *χόρμος*, стало обозначать также *muliebris mundus*, т. е. „женская одежда“, потому что *χόρμος* употреблялось и вместо *χόρμος γυναικεῖος* „женский наряд“. То же можно сказать и об игре слов в связи с ит. *ponte* „мост“, как переводом англ. *bridge*, которое обозначает и „мост“ и игру в карты „бридж“. С чисто исторической точки зрения, калька опиралась на ошибочное предположение, что оба слова *bridge* — это одно и то же, тогда как в действительности название игры имеет восточное происхождение; но практически для многих англичан *bridge* „игра“ должно казаться взятым из *bridge* „мост“, и тот, кто в Италии назвал игру „мостом“, просто калькировал это слово. Другой итальянской калькой является *piatto* в значении „тарелка“ из фр. *plat*, которое обозначает предмет посуды и вместе с тем является именем прилагательным, подобно тому как только прилагательным до заимствования указанного значения было ит. *piatto* „плоский“. Во французском языке глагол „поскать“ выражается словом *rincer*, которое, как и его пармский синоним *ardintsär*, восходит к лат. *recentare*; этот глагол образован от *recens*, *recentis* „свежий“ — известного прилагательного, которое в значении „вода“ мы находим в некоторых гlossenах: *βάλε υερόν* „вылей воду“ — *mitte recentem* (CGL, III, 218, 15), *πίωμεν υερόν ἐκ τοῦ βαυχιδίου* „ выпьем воды из сосуда“ — *bibamus recentem de gillone* (III, 653, 11), а также в отрывке из Марцелла Эмпирика (70, 12) — *recentes frigidas bibendo* „ выпивая холодную воду“: явная калька *υερόν* (новогр. *υερό* „вода“), которое является не чем иным, как др.-гр. *υεαρόν* „новый, недавний“².

¹ „IF“, XXI, стр. 176.

² M. Niedermann, Les gloses médicales du liber glossarum, „Emerita“, XII, стр. 78.

Наконец, тип кальки, который оставляет незатронутым суффикс, но изменяет семантическую сторону слова, мы находим в нашем слове *fantesca* „служанка“, вульг.-лат. **infantisca*, заменившее гр. παιδίσκη. Калька используется в особенности в тех случаях, когда мы должны создать слова для выражения понятия, пришедшего извне, и не хотим употребить иностранное слово; поэтому мы находим многочисленные кальки в языках, особенно литературных, образовавшихся под воздействием других, как мы только что отметили для латинского языка Энния. Очень богат ими немецкий язык. Некоторыми примерами могут служить: *Ausdruck* „выражение“ (более древнее *Aus-drückung*)—калька с фр. *expression*; *Aus-nahme* „исключение“ согласно лат. *ex-ceptio* из *capio* „беру“ (тогда как в более отдаленные времена оно обозначало то, что крестьянин удерживает для себя, „берет сверх“ при уступке фермы); *Blau-strumpf* „синий чулок“—калька с англ. *blue-stocking*, отраженного также во фр. *bas-bleu*; *Blumen-kohl* „цветная капуста“—перевод ит. *cavolfiore* (в Австрии, Баварии и др. сохраняется еще заимствование *cavolifior* и т. п.); *Durch-messer* „диаметр“—διάμετρος (в более отдаленном прошлом употреблялось *dyameter*); *Eigen-name* „имя собственное“—лат. *nomen proprium*; *Fall* „падение“ в смысле „случай“—лат. *casus*; *Flug-blatt* „листовка“—фр. *feuille volante*; *Frei-denker* „вольнодумец“—фр. *libre penseur* (от которого ит. *libero pensatore* „свободомыслящий“), из англ. *free-thinker*; *Ge-wissen* „сознание, совесть“—калька с лат. *con-scientia*, которое в свою очередь является калькой с συν-εἰδεῖς; *Gleich-gewicht* „равновесие“—*aequi-librium*; *Gross-vater* „дедушка“ и *Gross-mutter* „бабушка“, которые уже в XII в. начинают заменять исконные выражения,—фр. *grand-père* и *grand'-mère*; *Hand-streich* „налет, внезапное нападение“—фр. *coup de main* (как ит. *colpo di mano* „помощь“); *Heim-weh* „тоска по родине“—теперь типично немецкое слово, которое, однако, является не чем иным, как переводом *nostalgia*—слова, долго не употреблявшегося в литературном языке вплоть до времен Гете; *Herzog*—довольно древний и распространенный в различных германских языках перевод гр. στρατηγός „полководец“ (*стратоху-*); *Lebenslauf* „текущее жизни“—лат. *curriculum vitae* „жизненный путь“; *Meer-busen* „морская бухта“—*sinus maritimus*; *Menschen-fresser* „людоед“—*anthropophagus*; *Mit-leid* „сочувствие“—калька с лат. *com-passio*, которое в свою очередь

является калькой с гр. *συμπάθεια*; Ober-fläche „поверхность“—super-ficies; Schwertel (от Schwert „меч“) образовано согласно лат. gladiolus „гладиолус“ (цветок) от gladius „меч“; Selbst-mord „самоубийство“—согласно sui-cidium (новое слово!); Töpel „грубиян“ возникло из древнего dörper—нижненемецкого образования из dorp „деревня“, согласно ст.-фр. vilain=ville из villa „деревенский дом“; Um-stand „обстоятельство“ воспроизводит позднелат. círcum-stantia, и, согласно фр. faire des circonstances „церемониться“, говорят также Umstände machen; vor-nehm „приличный“—завуалированное лат. praescipius „выдающийся, замечательный“; Vor-sicht „осторожность“—pro-videntia „предусмотрительность“; Wohl-tat „благодействие“—bene-ficium; Zwie-back „сухарь“—ит. bis-cotto.

Можно было бы значительно продолжить примеры калек из разных европейских языков; можно сказать даже, что через посредство многочисленных калек¹ в языках современной Европы² образовалось большое число слов, одинаковых по значению, но внешне различных. Однако мы ограничимся лишь указанием на этот процесс как на один из нормальных способов образования новых слов³.

* * *

Заканчивая рассмотрение языков и способов их постоянного развития, перейдем к определению задачи современного этимолога. Если под „словом“ понимать не только внешнюю форму, но и все нерасчлененное целое, образованное этой формой и значением, то можно сказать, что эта задача заключается в том, чтобы определить формальный материал, использованный тем, кто первый создал слово, и то понятие, которое он хотел выразить этим словом. Поэтому этимология может заключаться также в выявлении того, что обычно называется изменением значения, например употребление liber „лыко“ для обозначения „книги“, в выявлении заимствований и т. д. Что касается причин возникновения того или иного нововведения, то они могут входить в предпосылки этимологии, но непосредственно

¹ Менее развитые народы пополняют таким образом свой словарь по образцу языков более высокой культуры.

² Pisani, Europa linguistica, „Annali Pisa“, серия II, г. XII, стр. 93 и сл. (перепечатано в „Linguistica generale e indoeuropea“, стр. 219 и сл.).

³ О калеках в новоевропейском языке см. L. Wagner, „Lingue Estere“, XI, стр. 247 и сл.

не касаются этимолога: только из результатов лексических нововведений теоретик и историк языка извлекают материал, позволяющий им исследовать применение принципа причинности в объекте их изучения.

Привожу здесь высказывания крупного лингвиста А. Ф. Потта („KZ“, II, стр. 415), составляющие введение к одной из его статей относительно названия радуги:

„Сравнительное языкознание не может ограничиться только тем, чтобы показать этимологическое тождество корней, слов и грамматических элементов в родственных языках и часто также в языках, не родственных между собой, где мы сталкиваемся с перенесением на собственную почву того, что родилось на чужеземной почве; или, наоборот, вскрыв различия между сравниваемыми языками в их структуре и в их образованиях и обнаружив обманчивую видимость фонетического сходства, которое посредственно отображает генеалогическое родство, не считаясь ни с чем, отбросить все это. Я не хочу также говорить сейчас о сравнении синтаксиса различных языков, в отношении чего в связи с огромными трудностями до сих пор сделаны (в понятной форме) только единичные разрозненные попытки. В данный момент мне ближе нечто другое. В широком плане, в котором названная дисциплина должна развиваться на основе истории мировоззрений человеческого рода, т. е. сабирания и противопоставления человеческих идей и представлений о вещах и внешних и внутренних явлениях, поскольку они остались след в языке, она должна извлекать разумные выводы из возможно большего числа языков и по возможности из языков самых различных народов земного шара, разумеется, при помощи сравнительного метода, однако так, чтобы большее значение в этом случае придавалось психологическому сходству и различию в обозначении. Но эти выводы в значительной части могут быть сделаны лишь на основе достоверных этимологий, потому что только этионы правдиво выражают то, что греки весьма правильно определили своим термином,— внутреннюю истину, т. е. первоначальное значение, которое от случая к случаю прилагалось к данному слову, или, что то же, их внутреннее содержание. Действительно, название — это не самый предмет, но лишь представление о нем, которое создавалось в момент его названия,— представление, по правде сказать, не всегда удачное“.

IV

СЛОВО ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Для целей этимологии, которые мы установили, необходимо определить если не лицо автора вновь введенного слова, что почти всегда безнадежно, то по крайней мере ту среду, в которой оно возникло, его языковые потребности, культурные условия и т. д. Чем лучше будет решена эта задача, тем точнее мы сможем выяснить способы образования нововведения и понятие, которому оно отвечает, если речь идет об имени или глаголе, а также грамматические средства, находившиеся в распоряжении лица, создавшего нововведение. Например, чтобы установить этимологию *cannocchiale* „подзорная труба, телескоп“, следует определить сначала, где и как это слово могло возникнуть. В качестве наиболее древних его свидетельств Томмасео приводит высказывания Галилея в одном из его писем и монаха Сеньери, жившего примерно в середине XVII в.; ранее 1609 г. это слово не могло возникнуть, потому что именно к этому году относится галилеевское изобретение. Галилей, помимо *telescopio* „телескоп“, употребляет также *occhiale* и *cannone* „подзорная труба“ (*s'hanno a cercare col telescopio o cannone* „их следует искать при помощи телескопа или подзорной трубы“)¹, тогда как *cappa* применяется им (в отрывке из „*Saggia-*

¹ Томмасео (I, стр. 1176, кол. 3) так цитирует Галилея: „...потому что, поворачивая трубу...“; но здесь *cannone* „труба“ может служить для обозначения лишь самой трубы без линз, т. е. не всего инструмента; ср. „*Lettera intorno alla luna*“ (I, изд. Тимпанаро, стр. 928): „При использовании подзорной трубы (*occhiale*) необходимо соблюдать следующее: инструмент должен быть неподвижным; поэтому... нужно закрепить трубу (*cannone*)... Хорошо, что труба может немного удлиняться и укорачиваться... Хорошо, что стекло (*vetro*), наполненное...“ Следовательно, *occhiale* состоит из *cannone* и *vetri*.

tore¹ для обозначения трубы безотносительно к линзам: „...по природе самого инструмента, который, для того чтобы при помощи его можно было видеть ближайшие предметы, требует значительно большей длины трубы (di canna)... кроме того, я утверждаю, что самая длинная труба (canna) показывает предметы большими, чем самая короткая“. Буонарроти в своей работе „Ajone“ говорит: e con l'occhial guardava del cannone „и смотрел при помощи подзорной трубы (occhiale)“; эта работа была прочитана в „Accademia della Crusca“ (Флорентийская академия ревнителей чистоты языка) в 1643 г. Отсюда следует, что cannocchiale могло быть создано во Флоренции примерно около 1640 г., возможно, самим Галилеем, и тотчас же укоренилось настолько, что было использовано в аналогичных условиях Сеньери в его трактатах; уже с момента своего возникновения оно обозначало то же понятие, что и теперь, точнее—инструмент, изобретенный Галилеем. Элемент occhiale, который входит в его состав, является не именем прилагательным, а существительным, которое уже само по себе обозначает этот инструмент, так что Галилей или кто-то другой, создавая cannocchiale, образовал это сложное слово наподобие наших poltrona-letto „кресло-кровать“, tavolino-bar „стойка в баре“ и т. п.

Гот. *arma-hairts* переводится ε̄σπλαγχνος „милосердный“, *arma-hairtei* — єλεօς „ сострадание“ и *arma-hairtja* — єλεημοσъя „ сострадание, милостыня“ (из греческого текста евангелия). Речь здесь идет о понятиях христианских, следовательно, почти несомненно о словах, созданных вестготским епископом Ульфилоем, переводчиком Библии, для своих проповедей и для перевода священных книг. Слова эти — бесспорные кальки лат. *miseri-cors* „милосердный“ и *miseri-cordia* „милосердие, сострадание“; интересно, что здесь Ульфиле не опирается, как обычно, на греческий язык, но на латинский. Нетрудно видеть причину этого: в греческих словах не проявляется ясно понятие, представлявшееся очевидным для говорившего по-латыни христианина, который выводил *misericors* и *misericordia* из древнего значения „ тот, чье сердце испытывает сострадание“ (*miseretur*) и соответствующего абстрактного „ тот, кто сочувствует бедным“, отсюда — „ кто дает милостыню“ и, наконец, „ милостыня“; ср. новое толкование в отрывке

¹ „Орге“, II, изд. Тимпанаро, стр. 650 и сл.

из Тертуллиана: misericordiam, qua super indigentes flectimur „милостыня, с которой мы обращаемся к беднякам“ (Ad Nat., I, 4) и в другом (Adv. Marc., IV, 17), где евангельское предписание estote misericordes „будьте милосердными“ толкуется как panem infringito esurienti, et qui sine tecto in donum tuam inducito et nudum si videris tegito „отломи хлеба голодному и бездомного введи в дом свой, и одень обнаженного“; у Киприана понятие misericordia является уже обиходным¹.

В итальянском словаре Томмазео значения *corda* „веревка, струна“ расположены в следующем порядке: 1) „нити из конопли, льна, шелка и т. п., скрученные вместе для связывания“ (т. е. „бечевка“); 2) „нить из кишк или из металла для звучания“; вариантом первого значения является „тетива лука“. С нашей точки зрения, этот порядок безупречен: любой неподготовленный итальянец склонен считать значение „струна музыкального инструмента“ специализацией общего значения „веревка“. Однако известно, что развитие этого слова было совершенно иным: значение „бечевка“ появляется в поздней латыни², тогда как латинский язык знал только значения „кишка“ и „струна инструмента“. Слово *chorda* является заимствованием из гр. χορδή, которое означает „кишка“ (например, Batrachom., 225), отсюда „сосиска“ (Аристофан, Ach., 1084; Nub., 454; Софил у Атенея, 125); также употребляется оно в значениях „требуха“ (например, Атеней, 94 с) и „струна инструмента“ (например, Гомер, Od., φ 407). В homerовском гимне к Гермесу (стих. 51) переход от первого значения ко второму еще заметен: ἐπτὰ δὲ συμφύους δίων ἑταύσσετο χορδάς „он натянул семь созвучных струн, кишек бараньих“³.

¹ Harry Jansen, Kultur und Sprache, Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachvergleichung. Von Tertullian bis Cyprian, 1938, стр. 209 и сл.

² Блох-Вартбург (I, стр. 277) сообщает, что это значение встречается уже у Плавта. Действительно, Форчеллини (и вместе с ним, возможно, некоторые другие лексикографы) отмечает: Aliquando accipitur pro fune (Плавт, Most., 3, 2, 55): Nunc tibi chorda traditur; inde in ferriterium, postea in cruce recta; h. e. tibi vincula parantur «Иногда (chorda) берется вместо funis „веревка“: Ныне дается тебе chorda, затем — в темницу и, наконец, прямо на крест, т. е. для тебя готовятся оковы». Однако отрывок этот полон пробелов, и рукописи предлагают только: Tunc... сог... tenditur inde ferriterium postea...

³ То, что значение „кишка“ является наиболее древним, доказывается сравнением и, кроме того, характером греческой традиции; ср.

Таким образом, при перенесении слова из греческого языка в латинский основное значение „кишка“, впрочем, уже редкое в греческом языке, исчезло. Причина этого понятна: *chorda* было, вероятно, дважды заимствовано латинским языком, причем оба раза как технический термин: в первый раз со значением „музыкальная струна“, которое мы находим уже у Цицерона и которое сохранилось в традиции музыкального искусства всех времен вплоть до современных романских языков; во второй раз, несколько позднее и независимо от первого заимствования — с кулинарным значением „требуха“. Наиболее древнее свидетельство этого употребления мы находим у Петрония, который говорит о *chordae frusta* „куски требухи“¹, и это значение продолжает и теперь сохраняться в некоторых романских языках, например в логуд. *korda*, *kordule* и в исп. *cordilla*². Ясно, что значение „веревка“, сохранившееся во всех романских языках, возникло в поздней латыни из значения „музыкальная струна“: вначале оно появилось, очевидно, в кругах музыкантов или мастеров инструментов, возможно, в то время, когда под влиянием Востока шелковые струны стали употребляться вместо струн из кишок. Во всяком случае следует отметить, что семантический переход имел место в латинском языке, где *chorda* было словом чисто номинативного, а не описательного типа, но не в греческом, где все время сохранялась живая связь χορδή „музыкальная струна“ с χορδή „кишка“, а также „требуха“³, почему это слово было еще описательного типа.

В трех рассмотренных случаях установление эпохи и среды позволило нам выяснить более или менее приблизительно этимологию слова: если для слова *cannocchiale*

в особенности алб. *gogtë* „кишка“, мн. ч. „требуха“, из **ghognā*, которое лежит также в основе др.-исл. *gogi*, мн. ч. *garnar*; χορδή могло заменить более древнее *χοργή под влиянием χόδ-χνον τὴν ἔσθρην „сидение, скамья“ (Гезихий), из χούτεύειν·χποκχεῖν „топтать“ (Гезихий), и, пожалуй, из *χοδή „анальное отверстие“; обе гlosсы делают правдоподобным существование последнего слова. Слова этого рода часто игнорируются литературой.

¹ Другие свидетельства мы находим у Негаена, Kleine Schriften, 1937, стр. 83 и сл.

² „REW“, № 1881.

³ То обстоятельство, что *chorda* „музыкальная струна“ и *chorda* „требуха“ проникли в разные эпохи и в различную среду, устранило возможность смешения этих значений в латинском языке.

„подзорная труба, телескоп“ мы были в состоянии почти точно определить понятие, существовавшее у создателя этого слова, поскольку мы располагали для этого большими возможностями, то для *arma-háirts* „милосердный“ и др. и еще более для *chorda* „веревка“ нам пришлось ограничиться менее точными указаниями именно потому, что показатели времени и места были более неопределенными. Во всяком случае все три примера показали необходимость как можно точнее помещать во времени и в пространстве слова, этимон которых мы хотим знать.

* * *

Помещение слова в пространстве входит в сферу деятельности лингвистической географии, которая изучает языковые явления, связанные с местом. Ее рабочими инструментами являются лингвистические атласы, где обозначаются места распространения отдельных изоглосс: на обыкновенной географической карте, сведенной для ясности указаний к минимально необходимым данным, отмечаются границы, в пределах которых какое-нибудь языковое явление возникает в определенную эпоху; например, границы распространения в современной Италии различных слов, употребляемых для обозначения понятия „крестный отец“; слов с уменьшительными суффиксами *-ello*, *-etto*, *-ino*, или слов с озвончением глухих согласных после носового звука (например, *cambo* вместо *campo* „поле“, *quando* вместо *quanto* „сколько“) в Южной Италии и т. д. Вообще же лингвистические атласы (например, французский атлас Жильерона, итальянский Яберга и Юда или итальянский, составленный Маттео Бартоли, но еще не изданный) относятся к эпохе, в которую они создаются и которая сама по себе благодаря обследованиям, производимым собирателями на месте, дает в изобилии надежный материал. Но, пользуясь сведениями, дошедшими до нас в документах, теоретически можно составить и лингвистические карты, более или менее суммарные, относящиеся к прошлым эпохам, например карту распространения определенных диалектных явлений (*σ* вместо *θ*, *ττ* вместо *ss*, *ρ* вместо *σ* и т. д. в древней Греции). Самое главное здесь заключается в том, чтобы изоглоссы были синхронны между собой. Разумеется, лингвистическая карта, хотя она и представляет собой ценнейшее подспорье

для лингвистической географии, не является абсолютно необходимой; но она заменяет пространное изложение, которое в противном случае пришлось бы делать в отношении местности, где происходит определенное явление, и с очевидностью противопоставляет это явление одному или многим другим.

Изучение языков в их пространственном распределении привело к утверждению, которое, будучи простым, все же ускользнуло от многих лингвистов прошлых поколений и которому до сих пор противятся некоторые языковеды, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет о соответствующих выводах. Это утверждение состоит в том, что каждое языковое явление вначале возникает в одном месте у определенного индивида и лишь потом становится моделью для языковых образований других индивидов, все больше распространяясь в пространстве вплоть до достижения определенных пределов. Так, например, мы видим, что в древней Греции, в Беотии, уже в V в. (а в отдельных случаях и в VI в.: *Μαρταέα* вместо *-αία*¹) начинаются те изменения вокализма, в результате которых *αι*, *οι* через ступень *αε*, *εε* превращаются в *η* (е), *υ* (ü); мы можем проследить распространение этих изменений и в остальной части Греции, пока они не становятся общими для всех диалектов. В средневековой и новой Германии мы присутствуем при распространении с севера на юг — с постепенной утратой наиболее резких особенностей — так называемого второго перехода согласных, которое приводит к оглушению общегерманских сонорных и переходу древних глухих (p, t) в аффрикаты (pf, z) или спираанты (ff, ss).

Это распространение не является, конечно, единообразным. Оно может затронуть определенные общественные классы или определенные технические и профессиональные группы, оставляя в стороне другие или же вызывая в них соответствующую реакцию; оно встречает иногда препятствие при простом переходе из одних диалектных форм в другие, тогда как в иных случаях явление переносится даже из одного языка в другой, глубоко отличный, лицами, говорящими на двух языках; оно принимает компромиссные формы между старым и новым и т. д.

¹ Schwyzer, *Dialectorum graecorum exempla epigraphica potiora*, 1923, № 440.

Самое же важное заключается в том, что это распространение определяется двумя факторами, нами уже отмеченными, — необходимостью и авторитетом, причем авторитет понимается здесь в очень широком смысле, не только как влияние важных политических, экономических или культурных условий, но и как воздействие новизны и т. д. Но в общем распространение имеет место от столицы по направлению к важнейшим городам, от городов к центрам провинций и округов, а отсюда к деревенским местностям. В наши дни при современных средствах передвижения языковое нововведение (как, впрочем, и всякое другое) может легче распространяться из Рима в Милан, или наоборот, чем из Рима в какую-нибудь местность Лациума, связи которой со столицей значительно слабее, а социальная и культурная среда резко отлична; как мы уже отмечали, принятие языковой модели каким-нибудь индивидом тем возможнее, чем ближе его языковая система (т. е. его воспитание, его окружение и т. д.) к языковой системе индивида, предлагающего эту модель.

Другим следствием факта, что в основе распространения лежит возможность связи, является то, что часто изоглоссы задерживаются у границ политических, экономических, церковных или у естественных преград, которые препятствуют связям или затрудняют их в тех случаях, когда изоглоссы распространяются из различного рода центров, особенно таких, как рынок, храм и т. п. Разумеется, в Средние века и еще больше в античную эпоху возможности связей на расстоянии были крайне незначительными; поэтому для таких эпох мы можем говорить о территориальном распространении, продвигающемся в целом по всему фронту, а не о скачках, как в современную эпоху, когда нововведения доходят от одного большого города до других больших городов раньше, чем до промежуточных территорий. Нечто подобное мы наблюдаем, например, и в период Римской империи, когда такое языковое явление, как приставка перед *s* с последующим согласным (протетическое *i* перед *s impura*), берущая свое начало в греческом языке жителей Малой Азии, распространяется в латинских портах Средиземного моря (наиболее древнее свидетельство мы находим в Барселоне во II в. н. э.), а отсюда уже позднее проникает в различные внутренние территории, притом скорее в западные (Иберия и Галлия, Сардиния), чем в центральные

(Италия) и восточные (Балканский полуостров), где она вводится с трудом и только частично или вовсе там неизвестна;ср. исп., португ. *estrella*, каталан. *estela*, фр. *étoile*, лугуд. *istedda*, но энгад. *staila*, ит. *stella*, вельют. *stala*, рум. *stea* из *stella* „звезда“¹.

Это обстоятельство дает нам также основу для определения какого-нибудь диалекта или языка с точки зрения пространственной — вопрос, который мы оставили нерешенным в гл. II. Подобно тому как для их определения с точки зрения хронологической мы основываемся на характерных памятниках, так с точки зрения пространственной мы избираем говор местности, которая, как правило, является наиболее важной в настоящее время или в прошлом. Последнее оправдывается тем обстоятельством, что именно из такой местности по большей части распространяются нововведения, которые образуют систему изоглосс, придающую общий облик всем диалектам определенной зоны, и которые появляются в этой местности более часто и результативно. Если бы мы представляли себе нововведения единообразно исходящими из всех пунктов языковой территории и распространяющимися с одинаковой интенсивностью, то мы не могли бы встретить те различия в отдельных чертах, которые достаточно отчетливо противопоставляют, например, диалекты тосканские и эмилианские, эмилианские и венетские и т. д. Именно тяготение к определенным центрам, тем более интенсивное, чем меньше были начальные возможности связи и рече границы политические, административные, экономические, привело в конце античного периода и в Средние века к образованию диалектов, сильно отличающихся от той вульгарной латыни, которая, даже различаясь территориально (что вполне естественно), не представляла собой, конечно, столь резкого диалектного разнообразия, какое мы наблюдаем между неолатинским миром XV в. и современностью.

В наши дни с расширением употребления национальных языков диалекты внутри каждой нации **сближаются** между собой, поскольку они все больше приближаются к типу языков национальных и литературных, а также в связи с возросшим обменом между областями. Этим объясняется тяготение разговорных диалектов в Италии

¹ „Geoling.“, стр. 67 и сл.

к итальянскому литературному языку, диалектов во Франции — к французскому и т. д., в результате чего различия между пограничными итальянскими и французскими диалектами все более и более увеличиваются.

Подобно этому в составе старого индоевропейского единства языки в некоторых случаях стали различаться в связи с нарушением непосредственного контакта, как, например, языки индийские и иранские, с одной стороны, германские, балтославянские и т. д. — с другой. Наряду с этим имеет место и тяготение некоторых диалектов к различным центрам; это наблюдалось, например, в тех диалектах, которые дали начало балтославянским языкам, тяготевшим, вероятно, к юго-востоку, где средиземноморская культура, проникшая через скифов и сарматов южной России, способствовала образованию экономического и, возможно, также политического центра, оторвавшего балтославянские племена от германского мира, с которым у них в более отдаленные времена существовали, безусловно, тесные связи. Равным образом на юге и западе кельты, притягиваемые другим центром средиземноморской культуры — в Северной Италии и юго-западной Галлии, — отвернулись от будущих германцев, которые, оставшись изолированными в местах своего жительства на севере, образовали характерное этническое и языковое единство.

V

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Наблюдателю, исторически не подготовленному, при рассмотрении им родного или чужого языка либо двух иностранных языков могут представиться случаи, когда он будет усматривать общее происхождение у слов, имеющих совершенно различное происхождение, и, наоборот, считать вполне независимыми друг от друга слова, восходящие к тождественному началу. Например, *allogare* „помещать“ и *alloggiare* „представлять помещение“ могут показаться многим одинаковыми по происхождению; однако первое из них образовано от *luogo* „место“ (или также от лат. *locus* „место“), второе — от *loggia* „открытая галерея“ (или также от фр. *loger* „размещать“), которое является словом французского происхождения (*loge* „комната“), в свою очередь происшедшего от герм. *laubja* „шпалеры для винограда“, откуда „колоннада“; поэтому *loger* вначале обозначало „расположиться для ночлега под портиком“.

Massa „масса“ и *massimo* „максимальный“ могли бы показаться связанными между собой; однако *massimo* является продолжением лат. *maximus* „наибольший“ — формы превосходной степени, образованной от корня *magn-*, который мы находим в *magnus* „большой“, тогда как *massa* происходит от лат. *massa* с первоначальным значением „тесто, закваска“, заимствованного из гр. μᾶξα „зашенная мука, ячменный хлеб“.

Obolo „обол“, особенно в значении „милостыня“ (*obolo di S. Pietro* „лепта св. Петра“; *date a Venezia un obolo* „пожертвуйте в пользу Венеции“), и *oblazione* „пожертвование“, тоже с виду похожие, ничего общего между собой не имеют: первое — это гр. ὅβολς „обол (мелкая монета)“, второе — книжное заимствование из лат. *ob-latio*, название

действия от offerre „предоставлять“, образующего систему с ob-lātus, состоящим из ob „по направлению“ и производного элемента от корня lā-, более древнего tlä- со значением „поднимать“; ob-latatio значит „несение по направлению к кому-нибудь, преподношение, приношение“.

Soffocare „душить“ могло бы показаться производным от fuoco, foco „огонь“, указывающим на удушение от дыма или чего-либо подобного, например во время пожара; однако оно является продолжением лат. suffōcare „душить“, состоящего из sub и деноминативного элемента, образованного от faucēs „глотка, горло“, в котором аи уже в латинском языке чередовалось с ō (например, в fōcāle „шейный платок“); тот, кто первый создал это слово, исходил, повидимому, из мысли о сжимании горла, преграждающем доступ дыханию.

Pignone „запруда, выступающая из реки плотина“ Томмасео производит от pīna „сосновая шишка“ вследствие сходства с острой формой шишки или от pīner „надавливать, чтобы поддержать“; однако pignone в значении „скирда“ продолжает, как и фр. pignon „шишка“, вульг.-лат. *pīnīōpēm, производное от pīnna, в техническом значении „зубец башни, верхушка здания“ (pīnnas mūgorūm dīcīmūs „мы говорим о стенных зубцах“; Каре, VII, 100 К), происшедшего в свою очередь от значения „крыло“, а последнее — от pīnna в результате смешения его с rappna „перо“.

А сколько людей были бы не прочь погадать насчет отношений между такими различными словами, как, например, taxus „тисовое дерево“ (древнее слово неясного происхождения), taxō, -ōnīs „барсук“ (германское слово; ср. др.-в.-нем. dāhs, перешедшее в латинский язык в позднюю эпоху), taxāre, усилительно-многократный глагол от tangō „касаюсь“, со значением „намекать, мучить словами“ (ср. в отношении значения ит. stuzzicare „дразнить“) и taxāre „оценивать, устанавливать таксу“ (заимствование из гр. τάξαι, аорист от τάξσειν „ставить, назначать“).

Аналогичным образом в течение некоторого времени было сильно в ходу сопоставление гр. δηλέομαι „врежу“ с лат. dēleō; однако греческая форма содержит корень δηλ- : δαλ- (ψρευοδαλής „расстраивающий ум“, Гезихий; δαλλεῖ, из *δαλ-γεῖ, толкуемого им как κακούργει „делает зло“), сопоставимый с корнем, который находим в латышск. dēlit „мучить“, тогда как лат. dēleō взято из перфекта dēlēvī по

соотношению pleb „наполняю“ — plēvī, a dēlēvī — по происхождению перфект от dē-linō со значением „зачеркивать“, которое ему в действительности присуще и из которого развилось другое значение — „уничтожать“.

Наоборот, немногим может прийти в голову, что prigione „тюрьма“ (из prehensiōnem „взятие, схватывание“) вначале было однокоренным с prendere „брать“ (из prehendere „брать“), а pigione „наемная плата“ (из pensiōnem „плата“) — однокоренным с pendere „висеть“ (от лат. pendere „взвешивать на руке, платить“); что oscillare „качаться“ [заимствование из лат. oscillāre, деноминативного образования от ūs-cillum „масочка (восковое изображение Вакха, которое подвешивалось к дереву и раскачивалось ветром)“, собственно „личико“, уменьшительное от ūs], oratore „оратор“ (заимствование из лат. ūrātor, имя деятеля от ūrāre „говорить“, деноминативное образование от ūs), adorare „обождать“ (из лат. ad-ūrāre „взвывать, молить“, образованного от ūrāre „говорить“), uscio „дверь, вход“ (из лат. ūstium „вход“, очень древнего образования от ūs), — все содержат лат. ūs „рот, лицо“; что operaio „рабочий“ (из лат. operārius „рабочий“, производного от opus „работа“) и fucina „кузница“ (из лат. opificīna „мастерская“, производного от opifex „мастер“ — qui facit opus „ тот, кто выполняет работу“) — оба содержат то же слово, что и в ит. opera „дело“ и иоро „необходимость“ (лат. opus „дело“); что lenza „леска“ (из лат. linteā, т. е. „из льна“; linteus „льняной“ образовано из līnum „лен“ по соотношению sparteus — spartum „изготовленный из дрока — дрок“) по происхождению производное от lino „лен“; что ruggine „ржавчина“ (из aēt-ūgō „медная ржавчина“, производного от aes „медь“ по аналогии с ferr-ūgō „железная ржавчина“, lān-ūgō „пух, пушок“ и т. д.) имеет то же происхождение, что и tame „медь“ (из aer-āmen, „médnye стружки“, тоже от aes „медь“). Никто не поверит с первого взгляда, что ит. riccio „ёж“ может быть сопоставлено с гр. χύρ с тем же значением; и все же riccio происходит от лат. (h)eptīcius „ёж“, производного (как по vīcius „новичок“ от novus „новый“ и т. д.) от hēr, полностью совпадающего по звукам с χύρ. Если в этом случае общим для обоих слов является звук t, то ни одного общего звука у фр. cuiis „варю“ (произносится kɥi) и аттич. πέττω „пеку, варю“, общегр. πέσσω, нет; но фр. cuiis „варю“ восходит, как и ит. cioccio „варю“, к лат.

*социō вместо социō „варю“, в свою очередь восходящего через циоциō, засвидетельствованного еще в плавтовских рукописях¹, к *циециō, в котором ци- первого слога стоит вместо р-, ассимилировавшегося -ци- второго слога; *рециō, к которому мы, таким образом, восходим и которое соответствует ст.-слав. рекō „я варю“, почти тождественно *рекчīō, являющемуся источником гр. πέτω-πέσσω.

Так мы установили два рода ошибок, которые относятся к внешнему виду слов и которых можно избежать, восходя, насколько это возможно, к его истокам: через посредство исторического засвидетельствования там, где это возможно (как в случае с рассмотренными итальянскими словами), и затем путем восстановления утраченных этапов. Короче говоря, необходимо установить историю слова. Чтобы поместить слово на свойственное ему место и определить, идет ли речь о заимствовании или об унаследованном слове по отношению к определенной отправной точке (латинский язык, индоевропейский и т. д.), необходимо (если мы хотим избежать произвола, который делал ненаучной так называемую этимологию, предшествующую современному языкоznанию, и построить наши утверждения на подлинно научной основе) помнить, как это указано выше, что каждый элемент языка составляет часть системы, две стороны которой подлежат рассмотрению в отношении формы: фонетическая и морфологическая. Что касается второй, то нельзя, например, производить paenitentia „раскаяние“ из paenae tentio „подлежащую наказанию“, как это делает Пассаванти², потому что это слово входит вместе со многими другими в образование на -entia от глагольных основ и поэтому производится при помощи данного суффикса от paenitet „раскаивается“; но об этом мы скажем в другой главе. Здесь мы остановимся на первой стороне, фонетической, принимая за норму, что звуки не могут изменяться по прихоти: они могут варьировать в различных фазах языковой традиции, но это происходит в определенных пределах и с известным единообразием в соответствии с тем, что мы называем „фонетическими законами“.

¹ quoquuntur „встречаясь“ (Men., 214), quoquals „гы бы сварил“ (Pseud., 854); cf. Niedermann, „Emérita“, XII, стр. 38.

² „Specchio di vera penitenza“, отд. I, гл. 2.

Как и все изменения, которые имеют место в языках, фонетические изменения происходят вначале в результате действий какого-нибудь индивида. Причины здесь могут быть различные, например психическая или физическая неспособность воспроизводить определенные звуки, содержащиеся в моделях его образований, небрежность в произношении определенных слов или слогов, имеющих ослабленное семантическое или функциональное значение или часто встречающихся в речи, неточное представление о моделях, редко употребляющихся, несовершенное слуховое восприятие слова, которое кладется в основу произношения, сближение с другими словами, похожими по звучанию или значению, и т. д. Слово или слова, произнесенные по-новому, являются ошибкой или, вернее, особенностью по отношению к норме, установленной соответствующими изоглоссами в языковом коллективе, к которому принадлежит индивид, создающий нововведение; особенность эта может привести к недостаточному пониманию таких слов со стороны слушателей или вызвать насмешку либо удивление. Это напоминает случай, когда какая-нибудь женщина выходит на прогулку странно одетой или причесанной не в соответствии с современной модой: можно любоваться новинкой или рассматривать ее с удивлением, или критиковать более или менее благожелательно, но она может вызвать и ложные толкования в отношении нравственности человека, который ее демонстрирует. Позднее, как это случается почти со всякой модой, она может найти подражание со стороны других женщин и стать нормальным явлением, а то, чему эта мода вначале противостояла, выходит из употребления и в свою очередь становится особенностью или „ошибкой“ при условии, конечно, что новинка не выходит особенно за рамки принятого, как это произошло бы, если бы в 1880 г., — не говорю, сегодня — какая-нибудь женщина вышла на прогулку в одних купальных трусиках. Точно так же новое произношение упомянутого индивида может послужить моделью для языковых образований других лиц, принадлежащих к данному языковому коллективу, распространиться, а потом тоже исчезнуть на продолжительное время, как мы это видели в предыдущей главе.

Фонетические нововведения могут подразделяться на две категории в зависимости от того, касаются ли они звуков отдельного слова или определенных звуков самих

по себе. Первая категория охватывает такие явления, как метатеза, или перестановка, например *padule* вместо *palude* „болото“, гр. ἀμφρέτη вместо ἄριθμέτη „считать“ и т. д.; диссимилияция одинаковых звуков, как *pelegrinus* вместо *peregrinus* „чужеземец“, *cuntellum* вместо *cultellum* „ножичек“; гаплология, или упрощение одинаковых или схожих слов, например *pacifista* „пацифист“ из *pacifista*, *χρατήρας· τούς*; *χρατοῦτας* „правители, цари“ (Гезихий) вместо *χρατητῆρας*¹; ассимиляция, как в лат. *bibit* вместо **r̥ibeti*, засвидетельствованного в др.-ирл. *ibid* (начальный р- отпадает в кельтских языках) и скр. *r̥ibaɪ* „пьет“. Такие явления связаны с составом слова и обычно им и ограничиваются, за исключением тех случаев, когда имеются слова, сходные по образованию; тогда это явление, если оно не слишком сложное, может распространяться и на некоторые другие слова или на всю их совокупность, как это имело место с ассимиляцией доисторического р- с -ци-последующего слога в лат. *quīnque* „пять“ из **repq̥e*,ср. гр. πέντε „пять“, скр. *rāñca*; **queciō*, отсюда *quoциō*, *социō* „варю“ (см. выше) из **reçq̥o*, ср. скр. *rācāni*, др.-болг. *rekъ* „варю“ и т. д.; *quecūs* „дуб“ из **regq̥-*, ср. лит. *Perkūnas* „бог дуба“, кельт. *Hercynia silva* „дубовый лес“ (из **perq̥ūnia*) и т. д.; здесь ассимиляция, возникшая вначале в одном слове, была в порядке подражания воспринята также двумя другими словами. Равным образом диссимилияция 1—1 с переходом в 1—г или г—1 спорадически встречается в других языках, например в латинском; но последний воспринял ее для суффикса *-li-*, который становится *-ri-*, если в слове ему предшествует 1 (чтобы между двумя 1 не вклинился г); отсюда *genara-lis* „родовой, общий“, *tribunali-* „трибунал, кресло“, *brumalis* „зимний“, *hiemalis* „зимний“, *servilis* „рабский“, но *militaris* „военный“, *calcarī-* „шпора“, *molaris* „величиной с жернов“, *ancillaris* „свойственный рабыне“ (со вставным г — *florealis* „цветущий“).

Иногда, наоборот (здесь мы переходим ко второй категории), звук или группа звуков может претерпеть изменение и независимо от состава слова, в котором находится, в результате соседства с другим звуком; например, *b* вместо *r* и, наоборот, *kī* вместо *rl* (так, в неапо-

¹ H. Lewy, „KZ“, LIX, стр. 182.

литанском наречии *chiove* из лат. *p̄lovit* „прошел дождь“), и d вместо t, если предшествует n. В этом случае изменение может ограничиться отдельным словом, например *brina* из *pruīna* „иней“¹, тогда как в других случаях начальный лат. p- сохраняется; аналогичным образом др.-ит. *gattivo=cattivo* „злой, плохой“. Тот же факт может быть отмечен и в лат. *glōria* „слава“ из **clevesia*, равного скр. *çravasyāt* „слава“, в основе которого лежит *çrávas-*, тождественное гр. *χλέος* „слава“, др.-болг. *slovo* „слова“. Если, однако, нововведение индивида вызывается тем, что он не может произнести или лишь с трудом произносит звук либо группу звуков, почему и заменяет их другими, то замена происходит во всех произносимых им словах, в которых имеется этот звук или группа звуков; таким образом, тот, кто воспроизводит нововведение в своих языковых актах, вынужден заменять старый звук новым и во всех других случаях. В противном случае нововведение может ограничиться одним словом, как в случае с *brina* и *gloria*. Тот, кто воспроизводит новшество, может или расширить его употребление, опираясь на соответствие между старым и новым, за пределы первоначальных границ и сделать его общим, распространив его на все языковое наследие, либо ограничиться некоторыми словами или некоторыми случаями. Например, в древне-

¹ Мейер-Любке („REW“, № 6796) полагает, что b в слове *brina* обязано влиянию *brūta* „зимняя пора, стужа“. Это возможно, но необходимо помнить (заметим, что лингвисты не всегда учитывают это, находясь под влиянием материалистических младограмматических теорий, приписывающих любое фонетическое изменение физиологическим причинам), что принципом „фонетического закона“ вполне может быть аналогия, которая вначале оказала воздействие на звук отдельного слова. В некоторых германских словах мы находим f из и.-е. *qu*, который обычно давал hw: гор. *fidwor* „четыре“,ср. *quattuor* „четыре“ и т. д.; *fimf* „пять“ из **repque* (см. выше); *wulfs* „волк“ из **çw̄quos*, ср. скр. *vṛkas*, др.-болг. *vřikъ*; др.-сакс. *havoro*, др.-в.-нем. *habaro*, нем. *Hafer*, но финск. (из догерманского) *kakra* „овес“, *hagre* в шведских и норвежских диалектах; здесь изменение началось в *tidwor*, которое заменило **hwidwor* „четыре“ по аналогии с **finhw* „пять“ (как в балт. и слав. **devin-* вместо **nevin-* „девять“ по аналогии с **desin-* „десять“). Отсюда f вместо hw перешел на *fimf* „пять“ и на **wulhwa* „волк“, образованное сходным образом (w — hw), а затем и на **hahwra* „овес“; возможно, также и на другие слова, о которых, однако, мы ничего не знаем. Ср. для этих и подобных случаев мою работу „Glottica Panerga, 2, Alcuni casi di analogia fonetica“ („Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere“, т. XXV, 1941—1942).

латинском языке оі в некоторых словах перешел в ю, а отсюда замена оі звуком ю распространилась и на *ūnus* „один“, *mūnus* „должность“, *mūnīre* „укреплять“, *murus* „стена“, *rūnicus* „пунический“, *cūra* „забота“ и т. д.; но древний дифтонг сохранился и перешел в ое в словах *Poeni* „пунические“, *poenia* „укрепление“, *foedus* „безобразный“ и др.; вместо лат. і мы находим ит. і, но только после задненёбных и губных: *chiamā*, *ghiaccio*, *ghiado*, *fiamma*, *piove* и т. д. из *clamat* „кричит“, *glacies* „лед“, *gladius* „меч“, *flamma* „пламя“, *plovit* „шел дождь“, тогда как *locus* „место“ дает *luogo*, *linum* „лен“ — *lino* и т. д. Если замена одного звука другим происходит в ряде случаев или, что чаще, регулярно всюду, то мы говорим о „фонетическом законе“, который не является чем-то фатальным или не допускающим исключений, как полагали одно время, но представляет собой лишь констатацию частичной или полной замены одного звука другим в двух следующих одна за другой фазах развития одного и того же языка.

Здесь нельзя делать чрезмерный упор на факторы, которые могут помешать правильному фонетическому изменению, даже в случаях частичной замены звуков, всегда происходящему в определенных границах. Эти изменения необходимо точно определять в формулировке „закона“; например, с переходит в ғ между гласными в латинском языке IV в. до н. э., но не в соседстве с согласными или в начале слова. Основным фактором здесь является аналогия, в результате влияния которой изменение не происходит в слове в том случае, если оно семантически или морфологически связано с другими словами, сохраняющими прежний звук, поскольку они выходят за пределы влияния „закона“¹; например, переход с в ғ не имел места в латинском языке в таких производных словах, как *de-silio* „соскакиваю“, потому что в сознании сохранилось отношение между этим глаголом и глаголами *salio* „прыгаю“, *insilio* „вскакиваю“ и т. д., которые трудно было бы распознать, если произносить *'derilio*.

¹ Следовательно, речь идет о явлении, противоположном тому, когда в результате влияния аналогии происходит изменение или звуков (*wulfs* „волк“ в соответствии с *timf*, ср. предшествующее примечание), или значения (ит. *greve* вместо лат. *gravis* „тяжелый“ в соответствии с антонимом *levis* „легкий“).

Другим фактором иррегулярности звуковых отношений может быть стечеие в одной традиции изменений различного происхождения: по месту, общественной среде и т. д.; например, в итальянском латинский интервокальный глухой звук иногда подвергался озвончению, иногда — нет;ср. *catino* „таз для мытья“ и *badessa* „настоятельница монастыря“, *amicō* „друг“ и *bottega* „лавка“, *vicino* „сосед“ и *filugello* „шелковичный червь“, *capanna* „лачуга“ и *riva* „берег“ из *catinus*, *abbatissa*, *amicus*, *apotheaca*, *vicinus*, *follicellus*, *capanna*, *rīpa*. Здесь в звонких согласных отмечается изменение, которое, происходя в Галлии, захватило северную Италию и только частично проникло в центральную Италию, тогда как сохранение глухих согласных присуще южной Италии и отчасти центральной. Из слов со звонкими согласными, проникших в итальянский язык (т. е. в центральную Италию) с севера, некоторые вызвали изменение и в других словах под аналогическим воздействием распространения различия, которое наблюдалось между старой и новой моделью¹; однако это распространение было побеждено здесь южной (местной) тенденцией и тем самым ограничено. Старый дифтонг *oi* перешел в *iè* во французском языке XVI в., а в произношении парижского простонародья принял форму *è* или *ia*; из этих двух форм *è* происходил из западных диалектов, а *ia* представлял собой, вероятно, реакцию на это деревенское произношение, которая привела к изменению в *a* второго элемента в составе *iè*. В результате в некоторых формах установился *è*, в других — *ia*, и когда *iè*, наконец, исчез, несмотря на усилия грамматистов (советы которых все же содействовали частичному сохранению *ia*), возникло современное положение вещей, при котором старые *roi* „король“, *foi* „вера“, *bois* „лес“, *gloire* „слава“ стали *rià*, *fià*, *buà*, *gluàr*, но *croie*, *monnoie*, *foible*, *roide*, *connoître*, *paroître*, *François*, а формы имперфекта и условного наклонения на *-oî* — *(c aî как обозначением è)* *craie*

¹ Например, принятие таких слов, как *ospedale* „больница“, *sco-della* „глубокая тарелка“, *aguglia* „шипиль“ и т. п. наряду с первоначальными *ospetale*, *scotella*, *acuccchia* и т. п., причем обе формы впремешку употреблялись разными говорящими лицами или даже одним и тем же индивидом в зависимости от среды, в которой он вращался, привело к впечатлению, что *d* представлял собой „новое“ произношение вместо *t*, *g* вместо *c*, и вызвало затем замену звуками *d*, *g* старых *t*, *c* у тех, кто воспринял это произношение в занесенных моделях.

„мел“, monnaie „монета“, faible „слабый“, raide „крутой“, connaître „знать“, paraître „казаться“, Français „француз“, avais „имел“, aurais „я имел бы“. Иногда слово может избежать общего развития, будучи употребляемо только в определенной среде, а звук сохраниться в силу особых условий, в которых он находится внутри слова (например, в лат. miser „несчастный“, caesaries „густые кудри“ с не перешел в г в результате своего рода предупредительной диссимиляции по отношению к г последующего слога) и т. д.

Несмотря на эту нерегулярность фонетических законов, не являющихся, конечно, законами, не допускающими исключения (как это суеверно предполагалось теми, кто еще недавно создал из этого догмат), история слова как формы может быть научно создана только с учетом этих законов. Если какое-нибудь сопоставление, приемлемое с семантической точки зрения (а иногда и морфологической), обнаруживает нормальные соотношения звуков, наблюдаемые у соответствующих языков,— безразлично, находятся ли они в родстве (т. е. между хронологически различными фазами того же самого языка или между языками, имеющими общее происхождение) или же в отношениях, установившихся впоследствии, то такое сопоставление следует считать надежным; таковы, например, соотношения между ит. padre „отец“ и фр. père, в которых звуки являются регулярным продолжением общей начальной основы — лат. patre; между ит. fratello „брать“ и лат. frater, где образование с помощью уменьшительного суффикса, равно как и фонетическое развитие, являются нормальными; между лат. māchina „машина“ и гр. μαχανά, где i латинского языка, отличный от срединного a в греческом, трактуется как нормальное изменение, которому подвергся a перед единственным согласным внутреннего слога во всех или почти во всех латинских словах между V и III вв. до н. э. (поэтому гр. μαχανά было, повидимому, заимствовано до этой даты); между лат. amphora „амфора“ и гр. ἀμφορεύς „амфора“, потому что в более древнюю эпоху, когда гр. θ, φ, χ произносились еще как аспираты t, p, k, в латинском языке они воспроизводились простыми глухими, и т. д. Там же, где отношения представляют отклонение от фонетической нормы, необходимо исследовать возможные причины такого отклонения; чем менее основательны эти причины, тем менее

надежным будет и сопоставление, хотя это не должно служить поводом, чтобы отвергнуть его a priori, если не представится другой, более веский довод; как мы видели на примерах с лат. gloria „слава“ и ит. gattivo „злой, плохой“, изменение может ограничиться одним словом (или, наоборот, древний звук может сохраниться). Конечно, перевес других критериев (семантического и морфологического) побуждает нас считать вполне обоснованным сопоставление, если даже фонетическая сущность какои-либо частности и остается неясной; так, никто не сомневается, что скр. aláim „я“ представляет собой то же, что и гр. ἐγώ „я“, хотя срединный согласный и не укладывается в обычные схемы, поскольку скр. h предполагает звонкую аспирату, что в греческом языке дало бы χ, и наоборот, гр. γ предполагает простой звонкий звук, для которого санскритский язык дает, как правило, g или j.

Мы уже говорили (гл. III) о том значении, какое имеет наблюдение фонетических изменений для различения заимствований и унаследованных слов: фонетика часто позволяет нам, если не хватает других примет, установить, по крайней мере относительно, хронологию заимствований. Например, мы знаем, что в латинском языке звук e перешел в o перед i, за которым не следуют i, e, I; так, это имеет место в solvō „раскрываю, распускаю“ из *seliō (se- как в se-parō „отделяю“ и т. п., luō=гр. λύω „развязываю“). Это изменение произошло, повидимому, между V и IV вв. до н. э.; следовательно, до этого периода были заимствованы, очевидно, такие слова, как гр. ἐλαῖFa, давшее лат. olíva „оливковое дерево“, или Σικελός „сицилиец“, которое дало Siculis; наоборот, такие слова, как milōs „песня“, celōx „яхта“ из χέλτης „яхта“ (с суффиксом по образцу velōx „быстрый“), delphīnus „дельфин“ и т. д., в которых e сохранился, были, вероятно, заимствованы позднее. Что же касается языков, из которых произошло заимствование, то в латинском языке с перед e, i почти вплоть до V в. н. э. произносился как k, после чего стал произноситься как c или s (=ts); поэтому можно заключить, что заимствования немецкого языка из латинского, например Keller „погреб“, Kicher „горох“, Kelch „бокал“, Kerker „тюрьма“, Pech „смола“ из cellarium, cicer, calicem, carcerem, picem предшествовали этому переходу; наоборот, Zeder „кедр“, Zelle „келья“, Zentner „центнер“, Zettel „листок“, Zingel

„подпруга“, Zins „подать, проценты“, Zirkel „круг“ были заимствованы из вульгарной латыни после этой даты; ср. cedrus, cella, centenarius, cedula, cingulus, census, circulus¹. На основе таких случаев можно установить, что заимствования из греческого языка проникли в латинский в течение двух периодов: первый период соответствует царской эпохе, второй начинается приблизительно в эпоху тарентской войны, когда Рим снова вступает в сношения с греками южной Италии после длительного периода оторванности. Заимствования первого периода распознаются по тому факту, что они подверглись фонетическим изменениям, произошедшим в этот промежуток, как, например, ослабление гласных во внутренних слогах. С другой стороны, наблюдение определенных фонетических особенностей (см. гл. III) позволяет признать в некоторых латинских словах греческого происхождения посредничество этруского языка.

Наконец, в связи с фонетикой заимствований следует заметить, что не всегда звуки одного языка соответствуют звукам другого; в таких случаях недостающие звуки в заимствующем языке чаще всего заменяются существующими в языке похожими звуками или же создаются компромиссы. Как мы видели, более древний латинский язык использовал простые глухие вместо греческих глухих аспират; древнеирландский язык не имел звука *r* и довольствовался воспроизведением его в заимствованных словах посредством *k*, например огамическое *qrimitir* (ср.-ирл. *cuimther*) из *pre(s)byter* „старейший“, др.-ирл. *cland* из *planta* „растение“, *caille* из *pallium* „покрывало, плащ“, *Cothraige* из *Patricius* „патриций“ и т. д. Вульгарная латынь не имела звука *ç* германских языков (перешедшего потом в немецком языке в *v*, в написании *w*, но сохранившегося в английском; ср. нем. *Wasser* „вода“ — англ. *water*, произносится *wa:tə*) и заменила его посредством *gu*, которое не было обиходным в языке, но во всяком случае образовало звонкую параллель к лат. *qu*; так, из лангобард. *wahtari* возникло ит. *guatteto* „помощник повара“, из франкск. и лангобард. **waidanjan* „работать“ — ит. *guadagnare* „зарабатывать“, из франкск. *want* — ит.

¹ В свою очередь заимствования могут служить для установления даты и определения произношения в языке, из которого они взяты; например, Keller и т. п. свидетельствуют о задненёбном произношении *c* перед *e*, *i* еще в эпоху Империи.

quanto „перчатка“, из *wardon* — ит. *guardare* „смотреть“ и т. д. Может случиться, однако, что заимствующий язык, по крайней мере в обиходной речи наиболее культурных слоев, вводит в свою фонетическую систему иноязычный звук в заимствованных словах, которым иногда сознательно заменяют другой, представлявший его в течение некоторого времени в просторечии, а также в исконных словах. То обстоятельство, что в Риме лица, принадлежавшие к образованным кругам, правильно произносили *ph*, *th*, *ch* в греческих словах в соответствии с φ , θ , χ там, где ранее произносились *p*, *t*, *c* (отсюда *amphora* „амфора“ вместо *ампога* и т. д.), послужило причиной развития произношения с придыханием латинских глухих: *pulcher*, „красный“, *triumphus*, „триумф“, также *sepulchrum* „могила“, *chorona* „венок“, *praechones* „глашатай“; все знали от Катулла (песнь 84) некоего Ария, который произносил *commoda* вместо *commoda* „выгода, привилегия“. Однако здесь имела место пуристическая реакция, которая ограничила придыхание немногими случаями — несколькими собственными именами и некоторыми словами с иноязычным обличием (*triumphus* „триумф“, *Karthago* „Карфаген“), а также словами, имевшими связь с собственным именем (*pulcher* „красивый“, как *Pulcher* — фамильное имя Клодия); отголоски этой реакции мы находим у Цицерона в „*Orator*“ (с. 160;ср. также Квинтилиан, I, 5, 20).

Замечено, что имена лиц и названия местностей (а и топонимика и топонимика) часто отклоняются от фонетического развития или преобразуют свои звуки способом, отличным от местной нормы. Причины такого их поведения могут быть различны. Приведем некоторые из них:

1. Очень часто такие имена не имеют для говорящего никакого значения и ограничиваются обозначением определенного лица или определенной местности; это наблюдается не только в тех случаях, когда первоначальное значение слова потускнело, но также и там, где элементы слова сами по себе еще понятны. Кто думает о цвете, выраженном в имени, говоря о *Monte Bianco*, *Monte Rosa*, *Monte Nero*, или кто, называя *Donato*, *Onobono*, *Angelo*, либо по фамилии *Aimadio*, *Bevilacqua*, *Vinciguerra*, обращает внимание на качество, пригодность, пожелание, выраженные в этих именах? Это приводит к полному их

отрыву от слов, составляющих язык, а отсюда еще большая легкость отклонений от нормального развития¹.

2. В силу изложенного даже деформация таких слов не влечет за собой последствий, которые имеют место при деформации, отрывающей слово от других, с которыми оно образует систему. Если я говорю *lello вместо coltello „нож“, то я искусственно преобразую обиходное слово, оставляя к тому же на произвол судьбы слова coltellino „ножик“, coltellaccio „большой грубый нож“, coltellinaio „ножовщик“ и т. д.; но если я говорю Nanni вместо Giovanni, Perre вместо Giuseppe, то я только заменяю имя, лишенное значения, другим, также лишенным значения. Равным образом не играют роли и сокращения названий в области топонимики, как, например, сокращение Mediomatrices (название галльской народности, центром которой был Диводурум) в Mettis в документах IV и V вв., откуда современное Мец².

3. По той же причине собственное имя больше других склонно к преобразованиям, вызванным так называемой народной этимологией (см. гл. VII).

4. Названия местностей употребляются не только локализованно, но также и при скошении с соседними землями. В современную эпоху, кроме того, они имеют официальную форму, используемую государственной администрацией, географами и т. д., что препятствует изменению слова в соответствии с местной фонетической эволюцией. Иногда же, наоборот, эта эволюция способствует приспособлению слова к официальной форме (часто вызванной непониманием или ложным восстановлением ее)

¹ Новое доказательство (если в нем есть необходимость) того, что фонетическое изменение происходит по более или менее сознательному соглашению говорящих, а не слено и фатально. Эта относительная независимость собственных имен от обычных фонетических изменений является по существу тем же, что и отмеченное выше (стр. 85) поведение слов с ослабленным семантическим значением.

² Поскольку некоторые нарицательные имена понимаются некоторым образом как имена собственные, они тоже могут претерпевать сокращения этого рода: ит. sog вместо signor „господин“ и топпа вместо madonna „госпожа“, в прошлом названия людей; фр. m'siō из Monsieur „господин“; интернациональное Zoo—zoologico „зоологический сад“, cine(ma)—cinematografo „кинематограф“. Приближаются, скорее, к жаргонным деформациям такие сокращения, как foto—fotografia „фотография“, bici (в Милане, особенно среди студентов)—bicicletta „велосипед“, mitra—(fucile) mitragliatore „ручной пулемет“.

и к формам, употребляемым соседним населением, которое переделало слово согласно своей фонетике, и т. д.¹

В заключение вопроса о фонетических изменениях скажем несколько слов о так называемом фонетическом символизме. Мы уже видели (гл. I), что люди античной эпохи, особенно стоики, связывали происхождение первоначальных слов с произношением некоторых звуков, которые благодаря производимому ими впечатлению вызывали определенные представления (например, *r* — резкость, *l* — мягкость и т. д.) — теория, которую невозможно доказать и к тому же чуждая интересующему нас вопросу².

Но несомненно, что некоторые звуки способны вызвать у большинства людей или у отдельных лиц определенное представление; например, Есперсен в своем известном труде³ утверждает, подкрепляя серьезными аргументами, что *i* часто вызывает представление о чем-то „маленьком, грациозном“; это не означает, что все слова, содержащие *i*, имеют или должны иметь такое значение, но иногда это впечатление влияет на значение некоторых языковых элементов или на форму слов. Например, латинский суффикс *-īno-*, служащий только для образования имен прилагательных, обозначающих принадлежность или отношение, дал ит. суффикс *-īo-*, который образует преимущественно уменьшительные имена, тогда как *-ōpe* сохранился для имен увеличительных; англосакс. *lytil* правильно образовало англ. *little* „маленький“, но существует тенденция удлинить в нем *i*, тогда как англосакс. *mīcel* „большой“ дало *mīch* „много“ (произносится шэ) с ненормальным развитием гласного, возможно, чтобы избежать *i*, который вызывал ощущение чего-то противоположного значению слова; англосакс. *wāc* дало англ. *weak* „слабый“ (произносится ѿk) вместо **wōke*, может быть, под влиянием указанного значения *i*.

В случае с *i*, уменьшительно-ласкательное значение которого встречается в ряде языков, можно говорить о

¹ О топонимике см. также сказанное в моей статье „Della toponomastica“ (*„Paideia“*) I, 1946, стр. 277 и сл.

² О фонетическом символизме и связанных с ним вопросах см. доклад II. Фуше в связи с дискуссией на тему „Природные отношения между звуком и представлением; фонетический символизм“ в „Atti del III congresso internazionale dei linguistî“, Флоренция, 1935, стр. 119 и сл.

³ O. Jespersen, Symbolic value of the vowel *i*, „Philologica“, I, стр. 1 и сл.

впечатлении чисто акустическом; в других случаях символическое значение звука может быть обязано тому обстоятельству, что по причинам, вначале совершенно различным, он встречается в некоторых словах со специальным значением. Кажется, это произошло в балтийских языках с дифтонгом *ui*, который имеет несколько источников происхождения, но, встречаясь в словах с различным значением, в основном применяется в словах, указывающих на физические или нравственные недостатки. Например, в лит. *kluikis*, *kluikša* „глупец“ *ui* кажется нормальным продолжением *öi*, продолженной ступенью *ai* в синонимах *klaikas*, *klaikšē*; в латышск. *kruiklis* „задира“ мы находим образование от глагола *kruīt* „спорить“, в котором *i* происходит от настоящего времени *kru-ju*; латышск. *tuīms* „апатичный“ является заимствованием из эстонского; от этих и подобных моделей дифтонг *ui* получил указанное значение¹.

В фонетике мы встречаемся с явлением, аналогичным и даже тождественным тому, которое наблюдается в морфологии, где какой-нибудь элемент может приобрести значение, поскольку он случайно появился в одном или многих словах с резко выделяющимся значением или аффективным характером; например, суффикс *-τρο-*, образующий слова среднего рода, вначале обозначал в греческом языке орудие, средство, как и в других индоевропейских языках: *ἀρτροῦ* „плуг“ как *ἀρά-ίγι-η*, *ἄχλιπτρο-υ* „палка“ из *ἄχλιπτεσθαι* „опираться“; также *λύτρον* „средство освободиться, выкуп“ из *λύω* „развязывать, освобождать“, *θρέπτρον* (мн. ч.) „вознаграждение за воспитание“ из *θρέψω* „воспитываю“. Оба последних производных слова придали суффиксу значение, относящееся к вознаграждению, плате, а отсюда этот суффикс (вместе со своими синонимами *-ɔ-θλο-* и *-θρο-*) стал служить главным образом для образования имен существительных с этим основным значением: *ἱα-τρο-υ* „гонорар врача“ (*ἱάμαι* „лечу“), *χόμισ-τρο-υ* „вознаграждение за перевоз или за спасение“ (*χομίζω* „несу“), *μήγυ-τρο-υ* „плата за донос“ (*μήγυώ* „донесить“), *γαδσθλον* „цена за переход на судне“ (*γαδς* „судно“) и т. д. вплоть до *τρι-τρα* „тройной ввоз“ надписи Гортина (I, 36)².

¹ S. Stang, Une remarque sur la diphthongue „ui“ en baltique, „Studi Baltici“, III, стр. 167 и сл.

² F. Solmsen, Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre, 1901, стр. 269 (ср. Brugmann, Grundriss, II, изд. 2, 1, стр. 342).

VI

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Понятие фонетического закона, нормального и общего развития звуков какого-нибудь языка в пределах определенного времени и пространства, является завоеванием языкоznания XIX в. До этого времени нам известны только отдельные верные замечания о некоторых отношениях между двумя языковыми фазами. Например, Клавдий Птоломей (XVI в.) отмечал, что сочетание согласного с последующим ¹ в латинском языке дало в итальянском сочетание согласного с i (*planta*, „растение“ = *pianta*). Но эти замечания не приводили к признанию определенной закономерности изменений, а главное — в них не было точного исторического представления об отношениях между одним языком и другим, между одной фазой развития и другой в пределах одного и того же языка. Это относится в особенности к античному периоду, в частности к грекам, для которых рассмотренное нами в свое время учение о πάθη τῆς φωνῆς „изменении звука“ служило только целям выяснения, как одно слово могло произойти от другого путем утраты, добавления, перестановки или замены звуков, поскольку всякая деривация (за исключением словосложения или, лучше сказать, соединения нескольких слов) понималась как παράγωγή „отклонение, изменение“, достигнутое только фонетическими средствами, рассматриваемыми учением о πάθη λέξεως „изменении слова“ или φωνῆς „звука“, а не средствами морфологическими. Это учение было столь прочным, что даже грамматисты, которые изучали и теоретически систематизировали флексию и нормальную деривацию, продолжали рассматривать формы одной парадигмы или морфологической системы как παράγωγα „отклонения“ (путем добавлений, изменений или утраты звуков) одной основной формы, например

имениительного падежа единственного числа или первого лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; отсюда такие наименования, как εὐθεῖα πτώσις (casus rectus) „прямой падеж“ для имениительного падежа и πλαγίαι πτώσεις (casus obliqui) „косвенные падежи“ для остальных падежей, поскольку последние рассматривались как отклонение (*χλήμα*, *declinatio* „наклонность, покатость“) от первого.

Иначе действовала индийская грамматика, которая вначале обратилась к санскриту, а затем применила уставновившиеся методы к различным пракритским языкам. Индийские грамматисты также рассматривают языки как ἔργον „произведение“, но у некоторых исследователей мы находим и точные указания относительно как более древнего (ведийского), так и более недавнего (bhāṣā) употребления, а также замечания, касающиеся фонетических отношений между санскритом и пракритскими языками; в целом индийцам идея хронологического и исторического развития не присуща. Однако в описании санскрита они дошли до аналитического метода: каждое слово образовано из глагольного корня (dhātu), одного или нескольких суффиксов (pratyaya) и окончания (vibhakti). Больше того, эта концепция является столь строгой, что там, где не появляется суффикс или окончание (например, в глагольной форме или именной основе dvīś-, равной корню dvīś- „ненавидеть“, или в звательном падеже vṛka-, равном основе vṛka- „волк“), они говорят о теоретическом суффиксе или окончании, которые исчезают. Их не пугают именные основы, не поддающиеся анализу,— слова номинативного типа, по нашей терминологии; они создают воображаемые корни, с поразительным пренебрежением к семантическому правдоподобию, создают суффиксы ad hoc, так называемые суффиксы ḥāḍī. При этом индийские грамматисты различают первичные суффиксы (kṛt), образующие именные основы непосредственно от корня, и суффиксы вторичные (taddhita), служащие для словообразования от других именных основ.

Теория и практика индийцев, воспринятые с необходимыми поправками первыми языковедами нового времени, дали прекрасные плоды и позволили поставить на широкую основу метод сравнения, особенно в области индоевропейских языков. Только благодаря им, отбирая в словах различные образующие элементы, Бопп впервые

сумел сопоставить эти отдельно взятые элементы и установить, что в большей своей части они были общими для индоевропейских языков, а отсюда он восходил к общим прототипам. Можно было, таким образом, говорить, например, об окончании *-i* местного падежа единственного числа, *-b̥t-* — родительного падежа множественного числа и т. д.; о суффиксах *-to-*, *-tor-* и т. д.; о корнях *bher-*, *es-* и т. д., т. е. об элементах, которые, будучи унаследованы в отдельных индоевропейских языках вместе с системой, регулирующей их употребление (разумеется, они были унаследованы в словах, в которые они входили, а не сами по себе), служили для дальнейшего непрерывного создания языковых актов, увеличиваясь в числе и сочетаясь друг с другом, пока они не исчезли, замененные другими.

Этими элементами являются окончания, аффиксы и корни¹. Окончания служат для образования слова и указывают его синтаксическую функцию (падежи, глагольные формы), также грамматическое число, а в глаголах — лицо. Следует заметить, что обозначение синтаксической функции постепенно исчезает в современных языках, где ее роль в значительной мере выполняют предлоги (*del padre* „отца“ вместо лат. *patris*) и место слова в предложении (*il figlio ama il padre* „сын любит отца“ вместо лат. *filius amat patrem* или *patrem amat filius* и т. д.).

Аффиксы служат для образования основы, как глагольной, так и именной, со всеми обозначениями понятия, включая время и наклонение в глаголе. В индоевропейских языках среди аффиксов различаются с уфификсы, которые добавляются к корню или к другой основе, и инфикссы, занимающие место внутри корня; практически

¹ Я ограничиваюсь здесь образованиями слов в индоевропейских языках. В других языках словообразование может происходить также при помощи префиксов, например в языках семитских, в которых элементы, обычно называемые префиксами, соответствуют в наших языках простым предлогам, первым элементам словообразования. В агглютиративных языках, как, например, в венгерском или турецком, настоящей флексии, как в индоевропейских или семитских языках, собственно, нет; здесь к основе добавляются элементы, являющиеся послелогами в имени или присоединенными местоимениями в глаголе. В моносиллабических языках, как китайский, морфология в нашем понимании нет; она заменяется иногда сочетанием основ-корней (например, *м н о ж е с т в о + л о ш а дь* выражает то же, что наше мн. ч. *лошади*); вообще же функция слова обозначается его местом в предложении.

инфиксы сводятся к одному, так называемому носовому инфиксу, который появляется между гласным и последующим согласным корня, например в *pingo* „рисую“ соотносительно к *pictus* „нарисованный“; *findo* „раскалываю“ соотносительно с *fidi* „расколол“, λιπάω „оставляю“ соотносительно с λιπεῖν „оставить“ и т. д.

Наконец, корень — это тот элемент, который повторяется во многих именных и глагольных основах и содержит в себе или содержал в момент их образования их общее отвлеченное семантическое значение. Иногда окончание может отсутствовать, и тогда основа предстает как слово; это мы находим, например, в форме им. п. *sol* „солнце“, равной основе косвенных падежей и им. п. мн. ч.— *sol-is*, *sol-em*, *sol-es* и т. д. Иногда отсутствует также суффикс, и тогда основа, а возможно, и слово, равняется корню, например в *es-t* „есть“, где, если отнять окончание *-t*, основа *es* равна корню в *es-se* „быть“, *er-am* „был“ из **es-ā-m* и т. д.; во 2 л. ед. ч. повелит. накл. *es* самый корень выполняет функцию слова. В этих случаях, даже там, где окончания и суффиксы отсутствуют, мы все же имеем дело со словами и основами, поскольку их значение как таковых вытекает из сопоставления со всей системой, часть которой они составляют; например, *sol* из сопоставления с *solem*, *solis*, *soles* и т. д. определяется как именительный падеж единственного числа. Поэтому индийские грамматисты не без основания говорили в подобных случаях об исчезнувших суффиксах. Они напоминают паузу, которая, составляя часть музыкальной фразы, имеет выразительное значение наравне с нотой.

Так, лат. *genitōrem* „родителя“, образованное при помощи окончания *-em*, указывает на винительный падеж единственного числа от основы *genitōr-*, откуда — *genitōre*, *genitōrēs* и т. д., а при помощи суффикса *-ic-* — на форму ж. р. *genitrīx* „родительница“; эта основа обозначает „тот, кто породил, отец“. Далее, *genitōr-*, как и *gen-i-tus* „рождение“, *gen-i-us* „дух (присущий человеку, семье)“, *gen-ō* „рождаю“, *gi-gn-ō* „рождаю“, *gnā-tus* „рожденный“ (откуда *nā-tus* „сын“), *ge-nus* „род“, *pro-gen-i-ēs* „поколение, потомство“ и т. д., содержит корень *gen(-i)-*, выражавший понятие „рождать“ и „рождаться“; это понятие легко обнаруживается в глаголе, тогда как в именах, непосредственно образованных от данного корня (в которых первоначально, в момент первого образования, оно выступало

довольно ясно), оно постепенно скрылось за семантическими изменениями этих имен. Что касается производных от имени основ, то они уже с самого своего образования зависели в своем значении от имени, к которому восходят, а не от корня. Поэтому, если в современном значении слова *genus* „ происхождение, род“ основное понятие, связанное с корнем *gen-*, как-то распознается, то в словах *generōsus* „родившийся“ и *generālis* „родовой, общий“ заключенное в них понятие выражается уже словом *genus*, тогда как корень забыт. Развивая метафору, содержащуюся в наименовании „корень“, можно сказать, что глагол — это как бы ствол со своими ветвями, всегда связанный с корнем, а имена — как бы плоды, которые в определенный момент отрываются от дерева и могут в свою очередь производить другие растения. Конечно, речь тут идет о первичном глаголе, а не о производных, которые, хотя и содержат тот же корень, но, будучи образованы от имени, вновь с ним связываются как в отношении значения, так и в отношении формы; например, *exercitare* „упражнять“ получило свое значение от *exercitus, -us* „военное упражнение“, а не от *ex-erCEO (arCEO)* „упражняю“, от которого образовано *exercitus*.

Эти и подобные вопросы будут более подробно рассмотрены в главе о семантике (гл. VIII). Сейчас мы отметим только, что в индоевропейских языках корень, суффикс и окончание не являются независимыми друг от друга элементами, но часто смешиваются в своих звуках, так что со временем их границы становятся непостоянными. Сопоставим следующие парадигмы слова „волк“ долатинского, латинского и итальянского языков:

	Долатинский	Латинский	Итальянский
Ед. ч.	*lupo-s	lupus	lupo
	*lupo-m	lupum	
	*lupōi	lupō	
	*lupōd	lupō	
	*lupo-sjō	lupl	
	*lupoī (местн. п.)	(bellī)	
	*lupe	lupe	
Мн. ч.	*lupo-i	lupī	lipi
	*lupo-ns	lupōs	
	*lupōis (оруд. п.)	lupīs	
	*lupōm	lupōrum	
	*lupo-i-su (местн. п.)	lupīs	

В то время как в первой колонке основа *lupo*- легко распознается (сюда же входит зват. п. *lupe* благодаря сохранению значения при апофоническом¹ чередовании *o* и *e*), во второй колонке она или смешана с окончанием (*lupō*, *lupōs*, *lupōtum*), или затеряна в других окончаниях (*lupī*, *bellī*, *lupīs*), или же ее исходный гласный звук перешел в *и* (*lupus*, *lupum*), так что можно было бы, скорее, говорить об основе *lup-* с окончаниями *-us*, *-um*, *-ī*, *-īs* и т. д., что без колебаний мы и делаем для итальянского языка, в котором *-о* появляется как окончание единственного числа, *-i* — как окончание множественного числа основы *lup-*.

Сопоставим сейчас следующие формы корня:

sker-, *ker-*: скр. *kṛ-pā-ti* „ранит, убивает“, *cár-maṇ-* „ко-жа, шкура“ (собственно „результат сдирания кожи“); гр. *κείω* (из **κέρ-ω*) „режу, скоблю“, *κέρ-μα* „отрезок, кусочек“ (формально тождественно слову *cártman-*); лат. *cōr-iūm* „шкура“, *cār-ō*, *carnis* „мясо“, *curtus* „обрезанный“; др.-ирл. *scaraítm* „отделяю“; англосакс. *sceran* „скоблить, отрезать“; лит. *skir-iū* „отделяю“; русск. *кора, шкура* и т. д.;

skert-, kert-: скр. *kárt-atī* „режет“, *kṛt-īs* „нож“; арм. *k'ert'-em* „сдираю“, лат. *cōr-tēx* „кора“, *scort-um* „кожа“;

¹ Мы называем апофонией игру чередований гласных как в качественном, так и в количественном отношении, которая имеет место внутри слова, принадлежащего корню или суффиксу, например в корневом слоге в *λέπω* : *λοτός* : *λπεῖ* „оставляю : оставлью : оставить“; в суффиксальном слоге в *πατέρ* : *πατέρ-ες* : *εύπατέρ-ες* : *πατρ-ός* : *πατρ-άσι* (со значением корня „отец“, последнее с *-ρ-* из словового *-τ-*); в корневом слоге в *fac-io* : *fēc-ī* „делаю : делал“, *car-io* : *cēp-ī* „беру : взял“, *teg-ō* : *tog-a* : *tēgula* „покрывало : тога : кровля“, *sed-eō* : *sēd-ēs* : *sēd-i* : *sol-iūm* (из **sod-iom*) : *sido* (из **si-sd-o*, как *gī-gn-o* „рождаю“) „сижу : сидение : сел : престол : сажусь“; в суффиксальном слоге в *pater* : *patr-is* „отец : отца“; *cago* (вместо **on*): *cagi-is* „мяса : мяса“. Мы говорим о нормальной ступени апофонии *де и о* в случаях как в *λέπω* : *λοτός*, *tego* : *toga*, *sedēō* : *solium* и т. д., о нульевой ступени в случае исчезновения гласного звука — *λπεῖ*, *πατρ-ός*, *πατρ-άσι*, *sid-o*; кроме того, *fēc-ī*, *cēp-ī* являются нормальной ступенью другого ряда, в котором *facio*, *cario* представляют нулевую ступень. Следует отметить, что апофonia входит в число морфологических средств индоевропейских (и семитских) языков, выполняя функцию обозначения иногда в сочетании с изменением суффиксов и окончаний, иногда с теми же суффиксами и окончаниями, например, имперфект *εύπατον* „оставляю“ отличается от аориста *ελπίτον* „оставил“ апофонией корня, им. п. *πατέρ* от зват. п. *πατέρ* — апофонией суффикса, равно как вин. п. мн. ч. скр. *bháratas* от им. п. *bhárántas* „несущие“.

сёна „обед“, древнее cesna, оск. cerssnaſs „cenis“ из *kert-snā, собственно „часть“; лит. kert-ū „режу, поражаю“; русск. короткий, др.-болг. krat-kū „короткий“ и т. д.;

skerd-: англосакс. sceort (>англ. short) „короткий“; ср.-в.-нем. scherzel „отрезанный кусок“; лит. skerdž-iū „бойня, убой (свиней)“ и т. д.;

skerp-, kerp-: скр. kṛp-āṇas „меч“, karp-aras „черепок“; гр. κρωπτόν „серп“; лат. carpō „ссыпаю“; др.-в.-нем. scirb-i „черепок“, skur(p)f-en „делать надрез“; лит. kerp-iū „режу“;

skerb(h)-, kerb(h)-: сп.-ирл. cerb-aim „режу“; англосакск. scearp (>англ. sharp) „острый“; латышск. skarb-a „обломок, осколок“ и т. д.

Мы видим здесь корень sker- или ker-, который, обращаясь различными звуками, зубными или губными, в свою очередь образует новые корни. Происхождение таких элементов ясно: речь идет о производных формах, именных и глагольных, образованных при помощи суффиксов, состоящих из этих звуков или начинающихся с них, откуда была извлечена новая форма корня, например из *kṛ-to — форма *kṛt-o- и т. д. Рассматриваемые элементы обычно называются корневыми детерминантами. Таков также т в tremit, трéме! „дрожит“ в сопоставлении с р в trepidus „дрожащий“ и с с в трéе! „дрожит“ (из -εσε-), скр. trásati, где корни trem-, trep- и tres- являются продолжениями ter- в скр. tarálas „трепетный“. В общем со словами происходит то же, что и со всяkim выразительным символом, употребляемым людьми: он все больше отрывается от своей первоначальной основы метафорического характера, пока не теряется всякая связь между ним и тем, что вначале им изображалось. Например, в дорическом стиле вначале сохранялись в скреплениях из балок соответствующие элементы более древней конструкции из дерева: триглифы, метопы, мутулы, капли; в дальнейшем эти элементы теряют свое первоначальное значение, принимают необычные формы и в конце концов становятся традиционными декоративными элементами.

Неопределенность границ, подобная той, которая существует между корнем и суффиксом, часто встречается также между словами в предложении. В романских языках это наблюдается в особенности на границе между артиклем и именем существительным; например, восточное слово, которое в персидском языке звучит nārāng, пере-

шедшее в арабский язык как *nāranj*, а отсюда в испанский язык как *naranja*, становится в итальянском языке *arancia* „апельсин“, потому что начальный *n* был понят как звук неопределенного артикля. Подобным же образом в результате смешения с определенным артиклем из *lattone* (из герм. *latta*) получилось *ottone* „латунь, желтая медь“. Наоборот, в слове *tondo* „круглый“ в сопоставлении с лат. *rotundus* „круглый“ мы имеем усечение первого слога, принятого за префикс *te-* или *ti-*, после того как уже на почве вульгарной латыни образовалось слово *retundus*, предполагаемое ит. *ritondo* „круглый“ и другими романскими словами, возможно, в результате ложного сближения с *re-tundō* „отталкиваю“.

В различных корнях со значением „резать“ мы могли также видеть чередование форм с начальным *s-* и форм без этого *s-*. Это явление так называемого подвижного *s*- обычно наблюдается в древних индоевропейских языках. Так, например, наряду с *steg-* мы находим *teg-*: скр. *sthág-atí* „покрывает“, гр. *στέγ-ει* „покрывает“ и *στέγ-εις, τέγος* „крыша“, лат. *teg-*б „покрываю“, *toga* „тога“, др.-сов. *зек-ja* „покрывать“, нем. *deck-en* „покрывать“, лит. *stē'g-u* „покрываю“, *slōg-as* „крыша“, др.-болг. *o-steg-й* (о- предлог) „одежда“; вероятно, мы имеем здесь древний префикс (или „преформант“), затемненный в своем значении. В той же функции выступает и задненёбный элемент в слав. *kostī* „кость“, возможно лат. *costa* „ребро“ при скр. *ásthī*, гр. *αστέρυ* „кость“, лат. *os* „кость“ и т. д.; в гр. *χάπρος* „кабан“ при лат. *aper* „кабан“; в гот. *hatis* „ненависть“ при лат. *odīum* „ненависть“; в скр. *kam-* „любить“ (*ca-kam-é*, З л. ед. ч. перфекта; *kā'mas* „любовь“ и т. д.) при лат. *amō* „люблю“, фриг. *ἀδ-ομιεῖ* τὸ φιλεῖν „любить“ и т. д.

Итак, чтобы дать этимологию слов со стороны формальной, необходимо иметь в виду нормальные способы образования слов и их значение в отдельных языках, а также знать, какие типы словообразования возможны в условиях соответствующего места и времени. Например, что может быть более очевидным, чем этимология слова *discipulus* „ученик“ как однокоренного с *discō* „учусь“¹? И все же эта этимология встречает очень

¹ У Эрну — Мейе (стр. 272) *discipulus* дано под словом *discō*, но к этому добавляется *quelle que soit l'etymologie de discipulus* „какова

много препятствий морфологического характера. Начнем с корня. *Disco-* — это основа настоящего времени, корень *dic-* (ср. перфект *didicī* „учился“), который не может происходить, как предполагают некоторые, из *dec-* в *debet* „подобает“ (и с чередованием *e* — *o* в *docet* „учит“), о чем свидетельствует *i* в повторяющемся слоге; иначе мы имели бы **dedicī*, как *tetigī* „коснулся“, *meminī* „помню“ и т. д. Этот *dic-*, очевидно, является тем же корнем, который мы встречаем в *dicō* „говорю“ и т. д., но со значением „показывать“, обнаруживаемом в гр. *δειχ-υῦματ*, скр. *diç-āti* „показывает, указывает“, ура-*diciati* „учит, обучает“, ср. скр. *diṣ-ṭi-s* „предписание“, авест. *ā-dis-ti-s* „обучение“; *didicī*, формально медиопассивный перфект, равный скр. *didicē*, 1 л. ед. ч. перфекта среднего залога, имеет одноковое значение „получаю наставление, знаю“ (*vera dicere didicī* „знаю, что говорю правду“; Плавт). Настоящее время представляется образованным с суффиксом *-sco-*; однако вопрос о том, существовала ли эта форма уже с древних времен или она образована позднее от *didicī* (перфект, как *meminī*) под влиянием *discipulus* и, возможно, также гр. *διδάσκω* „обучаю“ и, кроме того, по аналогии с *cognoscō* „узнаю“, остается открытым. Во всяком случае, происхождение данного слова, столь неясно образованного (которое поэтому должно было бы восходить к очень древней эпохе) от основы настоящего времени, мало правдоподобно.

Еще показательнее отсутствие в латинском языке суффикса *-rulo-*. Мы находим его, извлекая из уменьшительных образований типа *pupillus*, из *pupus* „мальчик“, *-rulo-*(*-a*) как конечную часть основы: *capulus* „рукоять“, *copula* „веревка“, *manipulus* „горсть, отряд“, *muscipula* „мышоловка“, *stipula* „соломинка“ и др.; однако, анализируя эти слова, мы видим, что в действительности здесь нет суффикса *-rulo-*. *Cap-ulus*, *cōpula* из со-*ap-ula*, являются образованиями с суффиксом *-(u)lo-* от корней в *cap-io* „беру“, *ap-iscor* „ получаю“; *mūs-cip-ula* тоже образовано от *capio* „беру“ в соединении с *mūs* „мышь“ и означает

бы ни была этимология *discipulus*“, образование которого, впрочем, *éénigmatique* „загадочно“. Замечание, что *les anciens ne le séparaient pas de disco*, auquel le sens le rattache étroitement „древние не отделяют его от disco, с которым оно близко связано по смыслу“, правильно; однако речь здесь идет о вторичном сближении, вроде тех, о которых мы говорим в конце этой главы.

„мышеловка“¹; *manipulus* состоит из *manu-s* „рука“ и образования с -о- от корня *płē-*, который мы находим в *pleo* „наполняю“ и *mani-pl-o-*, откуда со вставкой — *mani-pulo-* „который наполняет руку“; *tappula* происходит от собственного имени *Tappulus*, уменьшительного от *Tappus*; наконец, *stipula* представляется древним уменьшительным образованием от *stips* со значением „маленькая монета“, первоначально, повидимому, „металлическая полоска“ (как *ørøløs*, вначале „металлическое копье“), и входит в один ряд со *ср.-в.-нем. stivel* „деревянный кол“, *др.-в.-нем. steft* „гвоздик“, лит. *stipė* „зубец застежки“ и т. д.; здесь тот же корень, что и в *stipare* „набивать, наполнять“, к которому восходит также *stipes*, *-itis* „ствол, столб“². Если обратиться к *-plo-* (-ā-) в *exemplum* „пример“, *simplicus* „простой“, *duplus* „двойной“, *ampla*, *amplus* „обширный“, то мы получим то же: *exemplum* образуется с *-lo-* из *ex-imō* (емо) „вынимаю“ и означает „то, что вытаскивается; образчик“; *ampla* и *amplus* — из *am-* „заключать, охватывать“ (ср. *an-sa* „ручка, рукоятка“); здесь, как и в *exemplum*, мы находим появление р между п и л; *simplicum*, *duplus* и т. д. содержат корень *pel-* „складывать“, как *simplex* „простой“, *duplex* „двойной“ и т. д., которые являются более новыми сложениями с *plec-* из *plicare* „складывать“ (происходящего из *pel-* с корневым детерминативом *-k-*). И так как мы не можем считать, что слово *discipulus* „ученик“ создано по образцу одного из этих слов на *-pulo-*, *-plo-*, потому что ни одно из них не имеет родственного с ним значения, то приходится отнести связь его со словом *disco* „учусь“ и искать решения вопроса в другом направлении. Это сделал Штовацсер³, выводя *discipulus* из **dis-cip-io*, поскольку в первом заключено значение „исполнитель задания“, поставленного учителем; **discipio* не сохранилось; вместо него мы нахо

¹ Mūscipula повлияло, вероятно, на образование ит. *trappola* „западня“, которое происходит от герм. *trappa*, откуда фр. *trappe* „люк“. Как *mūscipula* и *capillus* образованы от *car-*, также *dēcipula* „западня“, *excipula* „сосуд“.

² *Simpulum* „разливная ложка (для жертвенных возлияний вина)“ является результатом древней ошибки в чтении (слово это упогреблено Тертуллианом) вместо *simpuvium* „жертвенная чаша для возлияний“; ср. *В гілк тапп*, „ALL“, XV, стр. 139, и *Niederman-Ghost words*, „Museum Helveticum“, II, стр. 127.

³ „ALL“, VII, стр. 488.

дим учащательный глагол *discepto* „рассматриваю, разбираю“¹. Возникшее таким образом *discipulus* могло, как указано, повлиять на образование форм настоящего времени *disco*.

Выше я исключил предположение, что *discipulus* могло быть образовано на основе какого-либо слова на -*p(u)lo-*. Однако несомненно, что такие образования имели место, что вызвано непостоянством элементов, составляющих корень, аффикс и окончание; частично с этим связано и образование новых суффиксов. В латинском языке мы находим производные слова отвлеченного значения с элементом -*io-* из сложных образований, второй частью которых было -*sep-* из -*san-* (от *cano* „пою, играю“) со значением имени деятеля: *tubicinum* „игра на трубе“, *tibicinium* „игра на флейте“, из *tubicen* „трубач“, *tibicen* „флейтист“, собственно — искусство этих людей, а отсюда упражнение в самом искусстве, игра на инструменте (*canere* значит „петь“ и в равной мере „играть на инструменте“) — на трубе, на флейте. В этих производных словах -*ciniūm* стало восприниматься как имя существительное, обозначающее „музыка, пение“, независимо от -*sep* в *tubicen*, *tibicen*; затем образовались слова *gallicinium* „крик петуха“ и *vaticinum* „прорицание“, в которых были еще живы значение „пение“ и связь с *canere*. Наоборот, *tubicinum*, *tibicinium*, понимаемые как „профессия трубы, флейты“, породили *lenocinium* (с гаплоглией вместо **lenonicinum*) „профессия сводника“, возможно, отчасти потому, что сводничеством занимались *tibicinae* „флейтистки“. В свою очередь *lenocinium*, соотнесенное с *leno* „сводник“, послужило источником образования слова *latrocinium* из *latro* „солдат, разбойник“ вначале со значением „военная служба“, потом, с дальнейшим сдвигом значения, — „действия разбойника“; под влиянием *lenocinium* образовалось также *tirocinium* „начало военной службы“ из *tiro* „новобранец“. Дойдя до этого момента развития, -*ciniūm*, утратившее всякую связь с *cano* „пою“, могло образовать в сочетании с *ratio* „счет“, уже не с именем деятеля, слово *ratiocinium* „учет, счетоводство“ (под влиянием прежде всего *vaticinum* „прорицание“), в котором отдаленно проступает значение „занятие какой-либо деятельностью“.

¹ Samuelsson, „Glotta“, VI, стр. 241.

Пример другого характера нам дает итальянский суффикс *-areccio*. Как показал Ману Лейманн¹, исходным пунктом здесь является лат. *pastor-icius* „пастушеский“, образованное так же, как *praetor-icius* „преторский“, затем *aedil-icius* и т. д. По мнению Лейманна, именно *pastori-icius*, соотнесенное с *pastum* „пастище“, дало начало элементу *-ricius* в **campo-ricius*, ит. *camporeccio* „полевой“, а потом по типу связи между *camporeccio* и *campo* „поле“ образовалось *villareccio* „сельский“ от *villa* „село“, затем *vaccareccio* „коровий“, *caprareccio* „козий“ от *vacca* „корова“ и *capra* „коза“, где *-areccio* имеет общее значение. Однако, с моей точки зрения, скорее *pastor-icius*, *pastoreccio* „пастушеский“ способствовало появлению *caprareccio*, *vaccareccio* от *caprato* „пастух коз“, *vaccaro* „пастух коров“, а отсюда по связи с *capra*, *vacca* появляются и *-areccio*, *-егессио* в *villareccio*, *campereccio* (*camporeccio* — с обратным включением *campo*), *casereccio* „домашний“; *figliereccia* „беременная“ по связи с *figliare* „рождать“ могло стать позднее источником подобных же образований от глаголов; ср. *godereccio* „выгодный“, *spendereccio* „расточительный“².

* * *

Как может возникнуть новый корень, показывает пример с ит. *vendere* „продавать“. Источником для этого слова является лат. *vendo* вместо *venum-do* „даю на продажу“, образованное на основе *veneo* „продаюсь“ по соотношению *perdo* „гублю“ и *regeo* „гибну“, *pessum do* „уничтожаю“ и *pessum eo* „падаю, погибаю“; также и *veneo* вместо *venum eo*, собственно „иду в продажу“, с элизией *-im* перед гласным звуком, что широко применяется в латинской поэзии; ср. *animadverto* „обращаю внимание“ вместо *animum adverto*. В латинском языке сопоставление *vendo* и *veneo* могло, по крайней мере в течение некоторого времени, давать говорящим возможность ощущать происхождение первого слова из сочетания с *dare*

¹ „Glotta“, IX, стр. 139 и сл.

² *Pulcer*, с основой *pulcro-* и древним значением „сильный, толстый“, могло быть образовано по связи с семантически родственным *maser*, *masco-* „тонкий“, первоначально „длинный“ (ср. *μαχαρες* „большой“) из *poll-eō* „имею силу“. Ср. также *fantesca* в соответствии с *παντεσκη* „девушка, служанка“ (см. выше, стр. 69).

„давать“; для итальянцев *vend-* — это корень, как и *ven(d)-* для французов, у которых мы находим *vendre* „продавать“, *vente* „продажа“. Впрочем *perd-* также воспринимается теперь как корневой глагол, который стал непроизводным с тех пор, как образовалось сильное причастие *perso*, а также слабое *perduto* (фр. *perdu* „погибший, потерянный“) вместо *perditus* „безнадежный, погибший“ из **per-datus*.

Источником обогащения новыми корнями какого-либо языка является звукоподражание. Такие слова, как лат. *tinnio* „брончу“ и *tintinnio* „звеню“, связанные с *tintinnavulum* „колокольчик“, *tinnitus* „брязгание“ и т. д., *ciculus* „кукушка“ с *ciculare* „кричать ку-ку“ и *cicubio* „испускаю крик филина“, *ululare* „выть“ с *ulula* „сова“, ср. гр. ὄλαυ „лять“ и т. д., образованы из слогов, подражавших определенным звукам, причем эти слоги сами по себе находятся за пределами языка, но, усваивая морфологические приемы и становясь выразителями некоторых понятий, входят в его систему и образуют нормальные слова. Необходимо, однако, осторегаться безоговорочно сводить слова, которые мы не понимаем с точки зрения этимологической, к звукоподражаниям, реально существующим или, еще хуже, лишь предполагаемым. Прежде всего следует иметь в виду, что некоторые звукоподражания представляют собой слова, более или менее изученные, как ит. *to'* „на!“, являющееся не чем иным, как формой повелительного наклонения *togli* „возьми!“, или русск. *мах-мах* (о быстром движении), взятое из *махнуть*, *мах* и т. д., однокоренное с лит. *mosiuti* „махать, размахивать“, корень которого представляет собой расширение элемента *та-* в слав. *ta-jati* „делать знак“.

Однако, доверяясь кажущемуся звукоподражанию (подражательной гармонии), которое, как представляется, присуще какому-нибудь корню, мы часто рискуем отнести к звукоподражаниям и слова совершенно другого происхождения. В романском этимологическом словаре Мейер-Любке¹ приведено звукоподражание *buff*, от которого якобы произошли слова, содержащие понятие „раздуваться, дуть“. Я полагаю, однако², что в основе этих

¹ „REW“, № 1373.

² „Alcune parole romane per *rosopo* e loro derivati“ („Annali Pisa“, серия II, т. VI, стр. 97 и сл.). Там же (стр. 106, прим. I) я ошибочно принял за калабрийское слово *brètkosa* „жаба“ и объяснял его как

слов лежит лат. *būfō* „жаба“, откуда сицил. и юж.-калабр. *buffa* „жаба“, ит. *bufone* „жаба“ и т. д., юж.-ит. *abboffare* „разбухать“, сард. *abuffare*, „разбухать“ [как *abbottare* от *botta* „жаба“, *arruspatō* „раздутый“ (в провинции Терамо в Аbruццах) от *rospo* „жаба“], откуда ит. *buffare* „дуть, раздувая щеки“, а также *buffo* „порыв ветра“ и т. п.

Там же¹ итальянские слова *pacchiare* „объедаться“, *pacchione* „обжора“ и т. д. возводятся к звукоподражательному глаголу *pakkyare*. Однако и в этом случае я считаю правильной свою гипотезу² о том, что в основе первого слова лежит латинский глагол **patulare* „широко раскрывать рот“ (от *patulus* „раскрытый“), тогда как *pacchiano* „глупец“ образовано от **patulanus*, латинской кальки (возможно вначале у какого-нибудь комического поэта) с гр. Κεχηγαῖος, созданного Аристофаном вместо κεχηγώς „распахнутый; с разинутым ртом“ (в финале Λύτηγαῖος) подобно *patulanus*, образованному от *patulus* по соответствуанию с *Romanus* „римский“. Если же Мейер-Любке и видел во всех этих словах звукоподражание *pakky-* и если еще Томмасео, определяя значение глагола *pacchiare*, говорил между прочим: „означает кушать с причмокиванием“, то для них звукоподражательное значение содержалось в сочетании звуков *kkj*, которое в действительности возникло из *-ll-*, подобно тому как *vecchio* „старый“ возникло из *vet(u)lus* „старенький“ и т. п., и вначале не имело, конечно, такого значения. Несомненно, однако, что, как показывает Томмасео, случайно возникшие звуки могут создавать подражательное созвучие, которое придает слову особый колорит, тогда как звукоподражание может иногда повлиять на фонетический облик слова, что, как было сказано, относится к фонетическому символизму (стр. 95 и сл.)³.

brutta cosa „дурная вещь“, хотя речь тут идет об албанских диалектах Калабрии и рассматриваемое слово имеет здесь то же значение, что и алб. *bretëk*, *bretkosë*, из вульг.-лат. **brotacus*, в свою очередь заимствованного из гр. βρόθχος „лягушка, жаба“ (ионийское βρότχος — βάτραχος).

¹ „REW“ № 6153^b.

² „Parole italiane con „pakkj- (pač-)“ („Arch. Glott.“, XXXIII, стр. 1 и сл.).

³ Помимо случаев подражания отдельным звукам, существуют и другие подражания, например *zig-zag* „зигзаг“, которое, повидимому, взято из немецкого языка, где оно вначале употреблялось для обозначения рвов с острыми углами у крепости (впервые при осаде Ландау

Ослабление впечатления принадлежности слова к корню, от которого оно первоначально было образовано, находит свою аналогию в формальном, часто глубоком разрыве между корнем и производным словом, и здесь причина семантического и причина фонетического характера нередко оказывают взаимное влияние. Точнее говоря, поскольку корни существуют только как элементы слов, однокоренные слова могут утрачивать семантически или формально свою древнюю взаимную связь¹. Мы уже отмечали, что в итальянском языке не ощущается больше отношений между *prigione* „тюрьма“ и *prendere* „брать“, между *pigione* „наемная плата“ и *pendere* „висеть“, *rendolo* „висячий“, к которым можем добавить еще *pesare* „взвешивать“ (лат. *pensare* „отвешивать“ является учащательным глаголом по отношению к *pendere* „взвешивать“, вначале переходному глаголу наряду с *pendere* „быть под-

в 1703 г.) и образовалось из *Zacke* „острый конец“ (ср. *Kluge* стр. 710), или *patapáinfete* „трах, шум“ и др. Об „элементарных образованиях“ говорит в своей статье *W. Oehl*, *Elementare Wortschöpfung: papilio — fidaltra — farfalla*, „Miscellanea linguistica dedicata a Hugo Schuchardt per il suo 80° anniversario“, Женева, 1922, стр. 75 и сл.; нужно, однако, с большой осторожностью подходить к этой проблеме.

В этом примечании я укажу только на слова, полностью придуманные. Таким представляется слово *Kodák*, созданное американским изобретателем Г. Истманом около 1889 г. для обозначения фотоаппарата, производившего шум при нажатии на рычажок (следовательно, звукою дражание!). Слово *gas* „газ“, которое долгое время принималось за производное образование, недавно было признано созданием голландского врача ван Гельмонта (1577—1644) по связи с лат. *chaos*, „хаос“ (*Boch-Wartburg*, I, стр. 330).

Вспомним, наконец, слова, образованные путем соединения начальных слогов или звуков слов, образующих название: *Teti* = *Telefonica Tigrina*, „Телефонная служба в области Тиррена“, *URSS* = *Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche*, „Союз Советских Социалистических Республик“, *USA* = *United States of America*, „Соединенные Штаты Америки“; *tb*, в произношении американцев *tibi* = *tubercolosi* „туберкулез“; англо-америк. *okey* (в написании *o. k.*) „отлично“ возникло, как передает один рассказ, из сокращения *o. k.* (в произношении *o key*), употребленного президентом Соединенных Штатов Джексоном вместо написания *all correct* (all произносится *oll*) и т. д.

¹ Это относится, естественно, и к словам, произведенным от одной и той же основы; мы уже видели, что слова *gatite* „медь“ и *ruggine* „ржавчина“ имеют своим началом *aes*, *aeris* „медь“; но сейчас между ними уже нет ничего общего. Кто заподозрил бы связь между сепа „ужин“ и *pusigno* „ужин перед сном“, из которых второе слово является продолжением лат. **postcénium* из *post* + сепа „после обеда“?

вешенным“) и латинизмы *pensare* „думать“, *ponderare* „обдумывать“.

Латиняне не чувствовали больше связи между словами *lūna* „луна“ и *lūcēre* „светить“, *lux* „свет“ и т. д.¹, несмотря на то, что семантическое значение было здесь вполне очевидным, поскольку исчезновение звуков *s* перед *n* в древнем **loucsnā* повлекло за собой искажение корня: пренест. *losna* свидетельствует о наличии в более древнее время звука *s*; соответствие с авест. *raoxšna* „светящийся“ из **leuksno-* дает нам первоначальную форму, а вместе с ней и этимологию слова, которое вначале обозначало „светящийся“.

В других случаях звуки не претерпевают изменений или претерпевают их в минимальной степени; это имеет место, например, в *tripudium* „трипудий (трехтактная пляска)“ рядом с *tripodare*, собственно „плясать, трижды ударяя ногой“, которое является однокоренным с *pes*, *pedis* „нога“, а также в *repudium* „расторжение“, вначале „отталкивание ногой“. Но это отношение уже не замечалось латинянами, потому что они не воспринимали как живое то чередование *e:o* (типа *tēgo:toga* „покрываю: тога“, *λέγω: λέγος* „говорю: речь“), которое действовало и составляло морфологический элемент в эпоху, когда были образованы *tri-podare* и др., а *repudium* сближалось латинскими этимологами с *pudere* „стыдиться“: *Verrius ait dictum, quod fit ob rem pudendam* «Веррий утверждает, что это название происходит от слова стыдиться» (Фест, стр. 281 М). Отсутствие первоначальных связей между *ped-* и *repudium* тем очевиднее, что в произведении Феста, являющемся кратким изложением работы Веррия Флакка, за словом *repudium* непосредственно следует *repedare: recedere* „отступать“.

* * *

Корни языка можно подразделить на глагольные и именные. Глагольными мы называем те корни, которые образуют глагол и другие производные слова-имена (отсюда наречия) и отыменные глаголы. Именные же корни появляются только в именах и в производных от них

¹ Этимология Варрона (LL, V, 68): *luna quod sola lucet* посту „луна, так как она одна светит ночью“ представляет собой простое образование из *lu* от *lūcēre* „светить“ и *po* от *pox* „ночь“, лишенное смысловой связи с *lūcēre*.

словах. Первые имеют в глаголе прочную семантическую основу и лучше сохраняют значение в тех именных образованиях, которые обычно близко стоят к глаголу, например в причастиях, именах деятеля и именах действия с живыми суффиксами. Вторые часто, даже при отсутствии значительных фонетических изменений, утрачивают свое первоначальное значение по мере развития значения слов, в состав которых они входят; это, естественно, происходит и с теми производными от глагольных корней словами, которые не являются частью системы, тяготеющей к глаголу. В результате нередко возникают сомнения относительно тождества корней, содержащихся в двух и более словах, особенно в тех случаях, когда образование этих слов восходит к отдаленным эпохам, а самые слова, возможно, появляются в различных языках; поэтому их образование следует относить к той эпохе, когда предшествующие стадии развития этих языков были связаны между собой близкими отношениями, как это можно сказать о словах во многих индоевропейских языках, восходящих к периоду единства.

Так, в этимологическом или, лучше сказать, сравнительном словаре Вальде-Покорного под предположительно выдвинутыми корнями различных слов мы находим серию слов, которые будто бы содержат эти корни; однако значения их иногда столь далеки, что мы имеем полное право сомневаться в истинности таких „этимологий“. Так, например, при корне *цен*¹ даны не только скр. *vánati*, *vanótí* „желает, любит, достигает, добивается, побеждает“ и, с другой формой настоящего времени, *vān-chati* „желает“, *vána-*, *vanís-* „желание“, откуда *vanýuati* „просит, выпрашивает милостыню“ и т. д.; лат. *Venus* „Венера“ (переход в женский род по аналогии с *'Афродítą* „Афродита“ из **venus* „желание“ == скр. *vána*); др.-в.-нем. *wunnia* „радость“, *wunsc* „желание“ (из **wónsko-*, тождественного скр. *váñchā* с тем же значением) и т. д., но также арм. *oup* „привычка“ и *gon* „попытка“; др.-ирл. *fine* „семья“ и уэльск. *gwēn* „смех, улыбка“, гот. *winja* „пластбище“, скр. *vánam* „лес“, гот. *winnan* „страдать“ и т. д. Все эти производные слова возможны как с формальной, так и с семантической точки зрения, потому что в отношении значения развитие их таково, что практи-

¹ Т. I, стр. 258 и сл.

чески нельзя провести границу между возможным и невозможным. Однако в какой степени все это правдоподобно? Все здесь строится на слоге *cep-*, с учетом тех изменений, которые он может претерпеть вследствие чередования (*cep*-, *ip*-, *cp*-, *eip*- и т. д.); но вероятность того, что сходство звуков в таком слоге носит чисто случайный характер, столь значительна, что нельзя серьезно строить что-либо на таких сопоставлениях. Правда, сопоставление основ или, во всяком случае, более или менее распространенных формальных элементов их дает меньше поводов для предположений, что речь идет о случайной омофонии. Однако какую пользу можно извлечь из того, что мы сведем какое-нибудь слово к определенному корню с весьма потускневшим значением в связи со словоизводством, которое ему приписывается?

Вот что говорил когда-то Педерсен по поводу этимологии, т. е. сопоставления слов из различных индоевропейских языков¹: «У нас мало оснований доверяться этимологией, которая пытается доказать не тождество слов, а родство в их корне. Кто бы мог заподозрить во фр. *aout* „август“ (произносится *ü*) корень лат. *augere* „увеличивать“² без помощи истории языка? Кто бы мог разразить мне, с точки зрения современного немецкого языка, если бы в слове *nuss* „орех“ я стал искать корень глагола *geniessen* „есть, кушать“? Не показалась ли бы правдоподобной эта этимология? А все же она решительно отбрасывается историей языка (др.-сев. *hnot*)³. Там, где речь идет о родстве в корне, надо всегда довольствоваться „мне кажется“. Нет никакого основания считать, что первоначальный индоевропейский язык был этимологически более прозрачным, чем какой-либо из языков, стоя-

¹ „KZ“, XXXII, стр. 250 и сл.

² В основе прилагательного *augus-tus* „возвышенный“ лежит *augos-* „увеличение“; как известно, месяц *Augustus* „август“ получил свое название от имени, которое было присвоено Цезарю Октавиану.

³ Nuss восходит к др.-в.-нем. (*h*)niz, которое вместе с англосакс. *hnitu*, др.-сев. *hnot* и т. д. предполагает более древнее *knudu-, очевидно, одинаковое с др.-ирл. *snid*; лат. *nix*, однако, восходит, повидимому, к *dnuk-s, метатезе *knud-s. Наоборот, *geniessen*, с приставкой *ge-*, восходит вместе с англосакс. *nētan* „брать, употреблять“, гот. *nītan* „получать“ и т. д. к корню *neud- (без k!), который повторяется в лит. *naudā* „владение, результат“ и слав. *nudit'se* „нуждаться“ (ср. гр. χρῆσθαι „пользоваться“ и χρῆμα „то, чем пользуются, вещь“).

щих ближе к нашей эпохе. Поэтому следует признать, что здесь, как и там, без сравнения родственных языков.., мы не можем распознать фонетические или семантические изменения, произошедшие в более раннюю эпоху (если только нет этимологической очевидности), или различить унаследованное от заимствованного... Нельзя поэтому придавать большое значение спекуляциям, основанным на корнях». В тех, однако, случаях, скажем мы, когда сравнения сами по себе не являются очевидными.

Кроме того, следует подчеркнуть, что корни составляют элементы слов и никогда (по крайней мере, в до-стижимые для нас языковые периоды) не существовали самостоятельно; следовательно, они представляют собою *posterior* „позднейшее“ явление по отношению к слову, из которого они извлечены и которое является более *prius* „первичным“. «Мало положить рядом этимологические словари и отметить в одной рубрике слова, имеющие одинаковый корень... Что даст нам, если мы будем знать, что семитский корень *r̠ēr* значит „собирать“ и что от этого корня происходят все слова с корневым *r̠ēr*, включая слово со значением „горшечник“ (который „ собирает“ глину)?» Эти свои слова Ўнгнад¹ подтверждает тем, что семит. *raħaq* находит свое соответствие в шумер. *baħar*; более чем вероятно, что это слово перешло от культурных шумеров к малообразованным семитам, а не наоборот, а тот факт, что в шумер. *ba-har* выделяются *ba* „от“ и *har* „создавать“, убеждает нас, что вначале это было шумерское слово и обозначало оно „ тот, кто воспроизводит“; следовательно, семитский корень *r̠ēr* извлечен из слова *raħaq*, заимствованного из шумерского языка, а не *raħar* образовано от *r̠ēr*.

Иногда принадлежность слова к определенному корню кажется очевидной. Между тем вначале слово могло иметь совершенно другое происхождение, и только случайное совпадение во внешнем облике и в значении создавало видимую близость, которая, впрочем, будучи осознана лицом говорящим, может вызвать дальнейшее сближение — фонетическое или семантическое. Например, лат. *amicus* „друг“ образовано, как *ant-icus* „передний“, *post-icus* „задний“, от предлога *ap-* „около“; поэтому вначале оно обозначало примерно то же, что и *propinquus*

¹ „Language“, XIII, стр. 142 и сл.

„близкий, близлежащий“. Однако оно было вовлечено в орбиту слов *amāre* „любить“ и *amor* „любовь“, с которыми начиная с древнейших памятников образует неразрывное единство; тем самым, возможно, оно способствовало сдвигу значения *amare*, которое вначале было то же, что *ērā* „страстно любить“, в сторону *philētū* „любить, чтить, дружить“, для выражения чего латинский язык имел слово *diligere*¹.

В этимологическом романском словаре Мейер-Любке с лат. *pausare* — отыменным образованием от *pausa*, — обозначающим „прекращать, отдохнуть“, соотносятся др.-рум. *pasare* „обитать“, ит. *posare* „отдыхать, класть“, фр. *poser* „класть, покойиться“ и т. д. Очевидно, что этот этимон верен для *pasare* и для итальянского непереходного глагола *posare* „отдыхать“, а также для *riposare* „отдыхать“, *riposo* „отдых“ и т. д. Что же касается глагола *posare* в значении „класть“, фр. *poser*, то очевидно, что здесь имело место скрещение с *posui*, ит. *pōsi* „положил“ и *positum*, ит. *posto* „положенный“ (от лат. *rōpo* „кладу“).

Точно так же ит. *boccale* „бокал“ происходит от лат. *baucālis* „бокал“, но, как показывает удвоенный задненёбный, оно в какой-то момент попало в сферу семантического влияния слова *bocca* „рот“.

Лат. *ignōscō* „прощаю“ всегда сопротивлялось попыткам объяснить его происхождение из отрицательного *in* и *gnoscō*, и Вакернагель² вполне справедливо сближал его с скр. *api-jñā-* „позволять“; стало быть, можно сказать, что латинский глагол содержит предлог **epi* „позади“. Однако латиняне видели в нем сложение с *in*, как показывают гlossen *ignoscere: non poscere* „не знать“ (Loewe, *Prodromus*, стр. 409) и игра слов у Горация (*Sat.*, I, 3, 22):

Maenius absentem Novium cum carperet, „heus tu“
Quidam ait, „ignoras te an ut ignotum dare nobis
Verba putas?“ — „Egomet mi ignosco“ Maenius inquit.

¹ Возможно, что возникшее таким образом отношение между *amīcis* и *amāte* вызвало непосредственное образование *pudīcus* „стыдливый, скромный“ от *pudēre* „стыдиться“; нормальным путем *-īco* не образует производных слов непосредственно от глаголов.

² „Symbolae philologicae O. A. Danielsson octogenario dicatae“, 1932, стр. 383 и сл.

„Мений однажды над Новием дерзко смеялся.
Кто-то сказал: „А тебя мы не знаем?
Иль нам не известно, сам ты каков?“
Мений в ответ: „О! себе я прощаю“¹.

Слово *carnevale* „карнавал“ обязано своим именем (что бы ни говорили против этого) *carrus navalis* „колесница-корабль“ праздничных дионисийских и изидских процессий. Герман Узенер в своей книге о сагах, связанных с потопом², вполне справедливо относил к *carrus navalis* повозки в виде лодки, на которых римские дамы выезжали на прогулку в дни карнавала еще в XVIII в., а также различные немецкие *Narrenschiffe*. Эту удачную этимологию с полным основанием возобновил и А. Альфельди³. Однако несомненно и то, что начиная с античной эпохи христиане видели в **car[ru]navale* уже указание на *carne* „мясо“, с которым расставались на период всего последующего поста, и в этом смысле переделывали это слово на тысячи ладов (что и отмечает Мейер-Любке)⁴. Но это относится уже к достоянию народной этимологии, на которой мы подробнее остановимся ниже (гл. VII).

Здесь нельзя не привести замечания Г. Рейнфельдера⁵, которые во всем совпадают с нашими: «Тот, кто сегодня употребляет слово *goupillon* „кропило“, не сомневается, что оно происходит от *gouipil* „лиса“ и обозначает „лисица“ или „хвост лисы“. Понять, как совершился отсюда переход к значению „кропило“, нетрудно, поскольку одно время обе эти вещи казались весьма похожими. Однако, с исторической точки зрения, дело обстоит здесь совершенно иначе. В наиболее древних источниках мы находим *guipellon* (XII в.), *gui-pillon* (XIII в.). Слово это находится в родстве с др.-фр. *guipron* „кропило“, которое связано со ср.-ниж.-нем. *wípe*, *wíp* „чуб, пуховка“. Но народная этимология опиралась в данном случае на слово *gouipil*. В форме *goupillon* оно появляется впервые у Виллона, и не исключено, что своим возникновением оно обязано этому остроумному мастеру слова.

¹ Перев. М. Дмитриева, Собрание сочинений Горация, М. — Л., 1936.

² H. U sen er, Die Sintfluthsagen, 1899, стр. 119 и сл.

³ A. Alfoldi, A festival of Isis in Rome under the Christian emperors of the fourth century, Будапешт, 1937.

⁴ *REW*, № 1706.

⁵ В его превосходной книге „*Kultsprache and Profansprache in den romanischen Ländern*“, Женева — Флоренция, 1933, стр. 43.

Из этого примера можно сделать тот вывод, что реальное происхождение какого-нибудь слова и этимологический образ, который это слово вызывает при его употреблении, могут быть совершенно различными. Поэтому часто бывает, что, хотя мы и можем ясно установить с исторической точки зрения происхождение того или иного слова или его значения, все же большую роль здесь играет и какая-либо другая связь, которая может оказаться ошибочной, но, тем не менее, заслуживающей серьезного внимания». По этому поводу Рейнфельдер вспоминает аналогичный случай с „целомудренным Иосифом“, о котором история гласит, что он противостоял обольщению жены Потифара, но который в представлении многих является теперь предполагаемым отцом Христа.

На эти замечания Рейнфельдера можно было бы возразить, что неправильно говорить о „реальном“ происхождении; самое большее, можно говорить лишь о происхождении в смысле историко-грамматическом. В слове сливаются оба начала — первоначальное происхождение и формальное или семантическое переосмысление, обязанное народной этимологии. Следует отметить, что иногда в отношении этой „двойной этимологии“ (которая представляет собой факт, встречающийся гораздо чаще, чем это можно было бы предполагать; ср. гл. VII) наблюдается аналогия в этимологиях исследователей, которые, создавая историю слова, исходят в своих объяснениях из своих вкусов — то из формы, относящейся к предшествующим периодам развития языка или происходящей из других языков, то из элементов, постоянно присутствующих в языке. Часто нам напоминают, что к сравнению следует обращаться, только исчерпав все средства объяснения слова, представляемые языком, к которому принадлежит слово. Но если естественно, что слово прежде всего должно быть включено в систему, в состав которой оно входит, то было бы ошибочно закрывать глаза на то, что некоторые внутренние связи, возможно, являются вторичными или прямо иллюзорными в свете установленного происхождения из совершенно другого источника.

Справедливо утверждение М. Л. Вагнера, который в начале своего исследования по сардинской лексикологии¹

¹ „Studien über den sardischen Wortschatz“, Женева, 1930, стр. VII.

писал: „Я целиком разделяю принцип, защищаемый в разных случаях Шпицером, что при объяснении лексики какой-либо области следует исходить из самой лексики, не доводя, однако, этот принцип, верный сам по себе, до крайности“. Вагнер ссылается здесь на заимствования, но его слова можно распространить также на сопоставления, основанные на родстве языков. Например, касаясь случаев, о которых говорилось раньше, было бы ошибочным объяснять *boccale* „бокал“ из *bocca* „рот“, игнорируя *βάκαλις*. Шпигель во введении к своему переводу книги „Khorda-Avesta“¹ утверждал, что, как и другие названия божеств в этой книге, имя *Mazdāo* тоже можно объяснить, исходя из исконного материала; он соглашается с Бурнуфом, который выводил это имя из *mas* „большой“ и *dāo* „знать“; таким образом, *mazdāo* должно было бы означать „наделенный большими знаниями“. Свое объяснение он сопровождает весьма любопытным примечанием: „Возможно, что *mazdā* равнозначно скр. *medhas*; однако это сравнение имеет значение скорее для санскрита, чем для древнеиранского языка. Слово *mazdāo* ясно само по себе, без сопоставления с другими языками“. Таким образом, Шпигель сам преграждает себе дорогу к пониманию этого слова: очевидно, что *mazdā-* — это то же, что скр. *medhā'* „ум, знание“, и вместе с ним восходит к **m̥ns-dhā*, подобно тому как глагол *m̥z-dā-*, *maz-dā-* „запечатлевать, хранить в памяти“ восходит к **mans-dhā* или **m̥ns-dhā*, где **mans-*, **m̥ns* представляют собой слабые формы по отношению к скр. *mánas-* „дух“, авест. *manah-* „дух“, гр. *μέγος* „сила, мужество“, а **dhā* является корнем (скр. *dhā-*, авест. *dā-*, гр. *θῆ-*), обозначающим „кость“. Однако возможно, что древние иранцы находили в имени своего божества как раз те элементы, которые отмечал Шпигель. Здесь мы подходим к вопросу, рассмотрение которого продолжим в начале следующей главы, когда зайдемся семантическим переистолкованием слова, например лат. *odium* „ненависть“, которое, несомненно, состоит в родстве с арм. *ateam* „ненавижу“ и т. д.; однако Скутч считал вероятным² и наличие здесь связи с *odor* „запах, предчувствие“ и т. д.

¹ „Avesta, die heiligen Schriften der Parseen. Aus dem Grundtexte übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition, von Dr. Friederich Spiegel“, т. III — Khorda Avesta, Лейпциг, 1863, стр. IV.

² „Glotta“, II, стр. 237 и сл.; „IF“, XXVIII, стр. 223 и сл.

* * *

Здесь мы задержимся несколько на другом процессе образования слов, часто встречающемся в индоевропейских языках,— на именных сложениях. Что касается глагольных сложений, то о них не приходится много говорить прежде всего потому, что в силу неустойчивости формы корня, о чем упоминалось выше, предлог или часть его может стать элементом корня, как это имеет место с ит. *cop(e)r-* в *coprire* „покрывать“, *coperta* „покрывало“ и т. д., которое теперь не имеет связи с *aprire* „открывать“, тогда как в латинском языке еще можно видеть в *cooperio* „покрываю“ сложение из со- и *operio* „покрываю“; дальнейший анализ путем сопоставлений показывает, что *aperio* „открываю“ и *operio* „покрываю“ образованы из *apo+verio и *oro (с о по аналогии с предшествующим словом)+verio, в которых *veriō соответствует лит. *veriū* (неопределенная форма *vérī*), обозначающему „открывать“ или „закрывать“ с образованиями *àtveriū* „открываю“, *ùt-veriū* „закрываю“. То же с лат. *com-birg* „сжигаю“ и *bustum* „пожарище“, в которых b— по происхождению конечный согласный предлога *amb-* в слове *amþ-igo* „сжи-гаю вокруг“, которое в определенный момент стало пониматься как *am-biro*.

Применительно к именным сложениям необходимо знать для каждого языка нормы, относящиеся к форме и значению. Первые касаются: качества слов, которые могут служить первым или вторым членом сложения: норм, регулирующих стечание конечных и начальных звуков, образующих сложение¹; возможного употребления „соединительного гласного“ между первым и вторым словом (например, *παντ-ο-μιστός* „для всех ненавистный“); суффиксов, употребляемых в конце сложения, когда оно приобретает значение прилагательного; перемещения ударения (например, *θεό-πομπός* „который имеет бога в качестве

¹ Как правило, в индоевропейских языках сложение состоит из двух частей, которые в свою очередь могут быть сложными. Исключение составляют копулятивные сложения, часто встречающиеся в санскритском языке, которые могут состоять из неопределенного количества частей, поскольку отношение между ними выражается в простом сочетании. Примером из латинского языка может служить трехчленное существительное, от которого образовано прилагательное *su-ove-taur-īlia* „(жертвоприношения), относящиеся к свинье, овце, быку“.

проводятого“, но фуχо-παρτός „проводятый души“) и т. д. Вторые касаются взаимных отношений обеих частей, синтаксического значения управляемого члена, преобразования субстантивного сложения в адъективное (например, ροδο-δάκτυλος, первоначально в значении „розовый палец“, затем „имеющий розовые пальцы“) и т. д.

Но, помимо необходимости хорошо знать морфологические нормы в этой, как и в других областях для создания этимологии, следует отметить еще то обстоятельство, что сложение более или менее скоро утрачивает связь со словами, из которых оно образовано, и становится самостоятельным словом как в формальном, так и в семантическом отношении, развиваясь в дальнейшем как таковое. Нередко один или оба компонента выпадают из языка, тогда как сложение сохраняется; в этом случае анализ его возможен только путем восстановления его элементов, часто посредством сопоставления с родственными языками. Приведем несколько примеров этого из латинского языка, в котором многие именные сложения восходят к глубокой древности; в историческую же эпоху процесс сложения в значительной мере был чужд этому языку, пока он вновь не развился в известной степени под греческим влиянием, особенно в поэтической речи.

От слова *forcipes* „щипцы, клещи“, полученного в результате синкопирования из **formo-sar-*, древняя форма сохранилась у Феста (стр. 84 М): *formicapes* *forcipes dictae quod forma capiant, id est ferventia* „щипцы называются так потому, что они благодаря своей форме захватывают раскаленную (заготовку из горна)“; в дальнейшем, начиная с I в., встречается также форма *forpices*, образованная путем метатезы (позднее также *porfices*) и ассимилировавшаяся в *forfices* во II в. Ит. *forbice* „ножницы“ и корсик. *furmige* представляют дальнейшую диссимиляцию обоих *f* — *forbice*, возможно, под влиянием *forbire* „чистить“.

Officina „мастерская“ и *officium* „обязанность, занятие“ являются производными от *opifex* „мастер, мастеровой“, возникшими путем синкопирования: *opificina* мы читаем еще у Плавта (Mil. glor., 880). Нет нужды говорить об их дальнейших фонетических изменениях (ит. *fucina* „кузница“, *ufficio* и *ufizio* „обязанность, служба“), равно как об изменениях второго слова, которое в латинском языке обозначает „долг“ (сначала в юридическом,

потом в моральном значении), а в итальянском стало обозначать то, что подлежит выполнению со стороны занимающего определенную должность, и позднее — место, где эта обязанность выполняется (или должна бы выполняться), и т. д.

Anceps „двуглавый“ и praeceps „падающий головой вниз“, род. п. -pítis, включают саріt „голова“: первое слово с предлогом am „вокруг“, второе — с предлогом prae „впереди“; следовательно, первичные значения — „который вертится вокруг головы“ или „который имеет две головы“ (securis anceps „обоюдоострая секира“) и „который посыает вперед голову“. Позднее anceps стало обозначать „сомнительный, неверный“ как в отношении субъекта, так и в отношении объекта; praeceps — не только „ тот, кто падает головой вперед“, но и место, где падают таким образом; от мн. ч. rgaesírīta, формы ср. р. praeceps, образовалось с последним значением ед. ч. rgaesírītiш „пропасть, обрыв“.

Acupedius обозначает то же, что гр. ὁχύπος „быстроно́гий“. Здесь элементу red-, еще живому в латинском языке, предпослано аси- „быстрый“, сопоставляемое с бс- в ὁσιօт „более быстрый“, гр. ὁχύς, скр. ācús „быстрый“, по отношению к которому латинское слово со своим а- представляет нулевую степень апофонии. Аси- находим также в accipiter „ястреб, коршун“, которое, будучи изменено согласно accíprio, восходит к *aci-petro-, второй частью которого является слово со значением „крыло“, и содержит индоевропейский корень *pet- „летать“ (ср. лат. peto, утратившее, однако, это значение; к данному корню относится penna „крыло“), как и скр. āci-раtvan- „который быстро летает“, гр. ὁχύπτερος „быстрокрыльй“ (ср. в „Илиаде“ ἵρης ὁχύπτερος „быстрокрыльй сокол“, N 62).

Nundina — богиня, председательствующая при обряде очищения новорожденного на девятый день после рождения; nundinum — промежуток в девять дней между двумя базарами. Происходит это слово от novem „девять“ (или noven, сохранившегося в одной надписи, ср. nōn-us „девятый“), синкопированного в noui->nūn-, и *dīno- „день“, которое исчезло в латинском, но встречается в скр. dīnam и слав. dīnī „день“. В качестве прилагательного nundi-nae, определение при feriae „праздники“, обозначало вначале „праздник девятого дня“, затем субстантивирован-

ное *nundinae* „базарный день“ (базар происходил каждый девятый день).

Aurīga „возница“ употребляется наряду с формой *ōrīga*, от которой оно образовалось как следствие крайнего проявления городского пуритана (гиперурбанизм), поскольку в деревенских диалектах оно часто соответствовало сочетанию *ai* в языке города. *Origa* объясняется как гаплологическая форма от **orī-rega* из **ōria-rega* (как *tī-bīcen* „флейтист“ из **tībia-can-*), в котором *ōria-*, образованное из *ōs-* „рот“, обозначает „узда“¹; поэтому *aurīga* — „ тот, кто правит уздой (возница)“, ср. *aureax* из *ōria + ag-*, с часто встречающимся *e* вместо *i* перед гласным. Отметим, что к *ōria* перешла форма *aurea* в приведенном месте из *P. Festus*.

Agrippa, как сообщает Плиний (*Nat. hist.*, VII, 45), обозначает тех, кто при рождении выходит из чрева матери ногами вперед, а не головой (и добавляет фантастическую этимологию: из *aegte partus*, с трудом рожденный!). В этом слове Шульце видит „ласкательное“ образование (оправдываемое тем фактом, что слово *Agrippa* употреблялось прежде всего как фамильное имя) через сложение **agtri-ped-* (ср. *Кλέμης* вместо *Κλεμέντης* и т. п.), где первый член сложения **agro-* соответствует скр. *ágrami* „острие“, авест. *aγtō* „первый“; первоначально оно обозначало, стало быть, „который посыпает вперед ноги“.

Anculus (уменьшительное образование *ancilla* „служанка“) не может быть анализировано с точки зрения латинского языка, но оно соответствует гр. *ἀμπι-πόλος* „служанка“ и является поэтому продолжением сложения **ambhi-quolos*, обозначающего „который движется вокруг“; ср. лат. *ambi* „вокруг“ и *colere* „обитать“ = гр. *πολεῖν* „пребывать, приходить“ (из **q^uol-*, *q^uel-*). Вначале его значение было, вероятно, религиозным; слово обозначало жреца, который воздает честь священному предмету, двигаясь вокруг него. Слово *anculus* употреблялось, вероятно, в религиозном языке; ср. гlossenу, возможно, искаженную²: *quod antiqui anculare dicebant pro ministrare, ex quo dii quoque ac deae feruntur coli [ab eis] quibus nomina sunt anculi et anculae*³.

¹ *P. Festus*, стр. 8 М.

² *P. Festus*, стр. 20 М.

³ [ab eis] — добавление, которое я сам осмеливаюсь вставить. Об особом значении слова *ἀμφίπολος* ср. *W. Pax*, *Sprachvergleichende*

В *bubulcus* „волопас“ первый слог *bu-* означает, повидимому, „бык“; наличие краткого *u* (как и в *bucerda* „воловий кал“) объясняется аналогией этого слова с *subulcus* „свинопас“ (и *sucerda* „свиной кал“), где мы находим слово *sus* „свинья“, в свою очередь имеющее краткий звук по аналогии с теми случаями, в которых окончание начиналось с гласного: *sūis* „свиньям“, *sīem* „свинью“ и т. д. Остается рассмотреть *-bulcus*; ит. *bi-folco* „волопас“ показывает чередование *b* и *f*; отсюда можно заключить, что указанный элемент является продолжением оскско-умбрской формы с *-f-* из *-bh-* внутри слова, соответствующей форме с чистым лат. *-b-*. Но, если *bh-* есть начало второго слова, то оно легко сопоставимо с гр. φυλαχές „сторож“; *-bulcus*, *-fulcus* утратили *a* в силу обычной синкопы; первоначально оба сложения обозначали „сторож быков“ и „сторож свиней“.

Первым следствием этого отрыва сложения от его составных элементов является тот факт, что сложное слово, принадлежавшее в момент его образования к огнисательному типу, переходит затем к типу номинативному, притом часто более решительно, чем простое производное слово. Поэтому нередко второй член сложения превращается в суффикс, в котором старое значение полностью тускнеет или теряется. Выше мы уже говорили о судьбе элемента *-cinium*. Кроме того, мы находим в латинском языке слова *ferōx* „отважный, дикий“, *solōx* „всклокоченный; покрытый свалявшейся шерстью“, *vēlōx* „быстрый“, *atrōx* „ужасный“¹, которые все содержат **ōq-* „вид“ = гр. ὄφει в сочетании с *fera* „дикий зверь“, *solum* „почва, основание“ (ср. *solidus* „плотный“), *vēla* „паруса“ и *aser* „кровь“.

Другое сложение, с нулевой степенью чередования **eq-*, из **oq-*, — *anti-quos* „древний“, из **anti-ēq-*; отсюда *-īquos* > *-īcius* (*antīcius*), отделившееся как суффикс, дало *post-īcius* „находящийся позади“, *am-īcius* „дружеский“ (ср. стр. 115 и сл.).

Untersuchungen zur Etymologie des Wortes ἀμφίπολος, „Wörter und Sachen“, XVIII, 1937.

¹ Последнее слово с синкопой — **asr-ōx*, поскольку древнее *-sr-* уже дало *-br-* (например, в *fūnebris* „похоронный, гибельный“ из **funes-ri-*, ср. *fūnus* „погребение, гибель“), а новое *-sr-* перешло в *-tr-*, как в *expultrix*: *expulsor* „изгоняющий“; ср. *claustrum* „запор, защита“ из **claussrom* вместо **klaudtrom*.

В comes „спутник“, pedes „пеший“, eques „всадник“ мы находим древние сложения с -i-t, имя деятеля от его „иду“: „кто идет вместе, пешком, едет на лошади“. Однако вскоре в этих словах стали видеть формы, производные от com-, ped-, equo- при помощи суффикса -it-, а затем образовались, в сфере слов с военной семантикой, miles „воин“ из *mīlo- („сабинизм“) вместо *mīdo- из *mīzdho- = гр. μισθίς „жалованье“, скр. mīdhām „награда“, затем „наемник, солдат“; далее произошли arquit-es „метатели стрел“ от arcus „лук“, satelles „телохранитель“ из *ksatrolō-, скр. kṣatrīyas „воин“, потом āles „крылатый“, caeles „небожитель“, rāmes „грыжа“, palmes „отросток“.

Особенно часто встречается этот факт в германских языках; в них немецкий суффикс -heit, англ. -hood (например, Frei-heit „свобода“, maiden-hood „девственность“) по происхождению существительные: др.-в.-нем. heit, англосакс. hād обозначают „особенность, сущность“; немецкий суффикс -tum, англ. -dom (например, Eigen-tum „собственность“, free-dom „свобода“, king-dom „царство“) — существительные, которые встречаются еще в др.-сакс. и англосакс. dōm „суждение, слава“ = гр. θωμός „куча“, спр. скр. dhāman- „местопребывание, закон“. Ср. также ит. -mente, которое в настоящее время служит для образования наречий, тогда как вначале представляло собой творительный падеж mente от mens „ум, мысль“. Поэтому *fortemente* обозначало первоначально „с сильным умом“; теперь же *fortemente* „сильно“, *rapidamente* „быстро“, *tristemente* „печально“ являются уже только наречиями от *forte* „сильный“, *rapido* „быстрый“, *triste* „печальный“ без всякого указания на телесность или духовность соответствующих качеств¹.

Эти явления лучше, чем другие, показывают нам, что суффиксы и окончания не существуют в нашем сознании как самостоятельные элементы, механически прикрепляемые к корню или основе, но воспринимаются в составе различных слов, по аналогии с которыми и создаются новые слова; например, *qualunque* образовано от (иото) *qualunque* „(человек) любой“ в соответствии с рядом *socialista* „социалист“, *comunista* „коммунист“ и т. д.

¹ Отметим сохранение формы женского рода в прилагательном, от которого образуется производное слово с -mente.

Доказательство этого мы находим в хорошо известном факте так называемого обратного образования, согласно которому новые слова создаются в процессе, обратном обычному пути словоизводства. Например, поскольку от *sena* „обед“ образуется *senare* „обедать“ и т. п., от *pugnare* „сражаться“, отыменного образования от *pugnus* „кулак“, создано *pugna* „сражение“, а Авзоний от *luctari* „бороться“ образовал *lucta* „борьба“, откуда ит. *lotta* „борьба“; *ministrare* „служить“ представляет собой отыменное образование от *minister* „слуга“, и, исходя из этого, от сложения *administrare* „прислуживать“ образовано *administer* „служитель, помощник“; подобным же образом от *adulterare* „вести распутную жизнь“, сложения из *alterare* „изменять“ (с обычным переходом al в il в безударном слоге), которое при отнесении к слову *matrona* „матрона“ обозначало „развращать“, образовано существительное *adulter* „прелюбодеи“; из *ab-undare* „изобиловать“, собственно „переливаться через край (о жидкостях)“ (*unda* „волна, вода“, откуда отыменное *undare* „вздыметь волны“), образовано *abundus* „изобильный“. *Truncare* „обрубать“ — отыменное образование от существительного *truncus* „ствол“ — обозначает „очистить ствол от веток“; от него образовано прилагательное *truncus* „обрубленный, изувеченный“. *Textilis* „тканый“ образовано от *textus* „ткань“; опираясь на соотношение этих двух слов, Авиен образовал *fertus* „плодородный“ от *fertilis* „плодородный“. От *scutella* „подносик“, уменьшительного от *scutra* „поднос“, и от *aucella* „птичка“ из *avicula* „птичка“ также образованы новые слова: *scutula* „плоская миска“ (по соответствию *porculus* : *porcellus* „поросенок“) и *agnsa* „птичка“, откуда ит. оса „гусь“ (по соответствию *agnus* : *agnellus* „ягненок : ягненочек“). Наконец, из сложений извлечены и простые слова, например *nocentia* „виновность“ из *innocentia* „невиновность“, которое образовано от *innocens* „невиновный“; *vagus* „скитающийся“ из *pemori-vagus* „скитающийся по лесам“ и т. п., в которых второй элемент — имя деятеля, употреблявшийся вначале только в сложениях, из *vagari* „бродить, скитаться“. Ср. также соответствия мужских имен женским, например *sponsus* „жених“ от более древнего *sponsa* „невеста“, *viduus* „вдовий, холостой“ от более древнего *vidua* „вдова“; скр. *dhavas* „муж“ от *vidhávā* „вдова“, с префиксом vi-, обозначаю-

щим отделение [наиболее древним словом является *vidhávā* (как это показывают соответствия лат. *vidua*, гот. *widuwo* и т. д.), образованное от корня *vidh-* в скр. *vidhús* „одинокий“ и *vindhl-áte* „не хватает чего-то“ с носовым инфиксом].

В этот же ряд входят так называемые „ипостасирования“, когда глагольная или именная основа извлекается из формы именной парадигмы, наречия или синтаксического комплекса: ит. *intavolare* „класть на стол“ из (*mettere*) *in tavola* „(класть) на стол“; *allettarsi* „ложиться в постель“ из (*mettersi*) *a letto* „(ложиться) в постель“; римск. *peracottara* „продавщица печеных груш“ из *pere coite*; лат. *fluentum* „течение, поток“, *iugerum* „югер (земельная мера)“ от им. п. мн. ч. *fluenta*, *iugera* из *fluens* „протекающий“, **iūgos* = ζεῦγος „ярмо“¹; *epulonus* вместо *epulo* „строитель“, от род. п. мн. ч. *epulonum*, *triumvir* „триумвир“ от род. п. мн. ч. *trium virum* „трех мужей“; *supernus* „верхний“ из *super-ne* „сверху“; *extra-muraneus* „находящийся вне городских стен“ из *extra muros* „вне стен“; *septentrio* „семизвездие“ из *septem triones* „семь звезд (собственно: быков) Медведицы“; *proportio* „соотношение“ из *pro portione* „в правильном соотношении“, *proconsul* „проконсул“ из *pro consule* „вместо консула“, *sedulus* „прилежный“ из *se(=sine) dolo* „(без) хитрости“ и т. д.

¹ Ср. также *praecipitum* „пропасть“, образованное от *praecipitia* — мн. ч. ср. р. от *praeceps* „падающий вниз головой“ (см. стр. 122).

VII

НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В своей превосходной книге об имени осеннего цветка безвременника (*veilleuse*)¹ Бертольди, указав на украшение этим цветком деревенских посиделок, говорит: «Можно сомневаться относительно этимологического происхождения слова *veilleuse*, но нельзя подвергать сомнению его теперешнее значение; другими словами, понятие „бодрствование“ (*veille*) может не быть зародышем слов типа *veilleuse*, а является лишь эпизодом в жизни этих слов². И действительно, из *veilleuse*, *veillote* и т. д. с помощью фонетических фильтров выцеживается древнее слово, которое для Уртеля является галл. *vela*, а для меня, скорее, одним из слов галльской семьи — *belenium*, *velenium*, *belinuntia*, *bilinuntia* и т. д.³ Но каково бы ни было это слово, оно представляет собой бренные останки слова *veilleuse*, так как душою последнего является *veillée* „бодрствование“, поскольку в сознании современного француза *veilleuse* непременно соединяется с *veillée*. Спросите об этом у пастуха Прованса, у деревенского жителя из Сансерруа или у крестьянина Нормандии, и все вам ответят то же, что отвечают Ролланд, Жобер, Жоре: *veilleuse, parce que la fleur de cette plante paraît en septembre quand on commence les veillées*, „*veilleuse*, потому что цветок этого растения появляется в сентябре, когда начинаются посиделки

¹ V. Bertoldi, *Un ribelle nel regno de' fiori. I nomi romanzo del colchicum autunnale L. attraverso il tempo e lo spazio*, Женева, 1923, стр. 27 и сл.

² По мнению того же Бертольди, «все заставляет предполагать, что давность семантического влияния слова *veillée* „посиделки“ относительно небольшая».

³ В третьем издании „REW“, № 9327а, Мейер-Любке выдвигает галльский этимон **vilia*.

(veilles)“, или: parce que la floraison de cette plante donne le signal des veillées d’automne „потому что цветение этого растения служит сигналом к осенним посиделкам“, и т. д.— Что значит по сравнению с этой живой этимологией в сознании народа наши этимологии, эмпирические лабораторные продукты, от которых отдает застоеем и затхлостью?»

Вопрос Бертольди оправдан, если под „нашими этимологиями“ он понимает то, что понимали и понимают под ними многие лингвисты, которые воображают, что произвели этимологию, если возвели форму какого-либо слова к более древней форме. Но вопрос этот не оправдан перед лицом требований, которые мы поставили перед этимологом,— найти значения слова в момент его первоначального создания, понимая под „словом“ не только внешнюю форму, но все неразрывное целое, образованное звуками и значением. В случае со словом *veilleuse*, отмеченном Бертольди, мы имеем древнее слово, обозначающее цветок безвременника, которое в определенный момент наполнилось новым содержанием: из слова номинативного типа, этикетки, не вызывающей никаких представлений, оно стало словом описательным, которым не просто обозначается определенный цветок, но цветок, „который украшает посиделки“. В результате возникло совершенно новое слово, подобно тому как новым является сонет Бруно по сравнению с сонетом (формально одинаковым или почти одинаковым) Танзила, о котором мы говорили выше¹.

Аналогичным является случай с латинским названием *mōtācilla* „трясогузка“². У Гезихия мы находим гlossenу μότρης ὄρνις πολύς „μότρης— некая птица“; не возникает никакого сомнения в том, что от *mōtāx или *mōtāk, соответствующих этой греческой форме, образовалось при помощи уменьшительного суффикса в соответствии с маленькими размерами этой птички слово motacilla³. Но Варрон (LL, V, 76) объясняет это название так: Quod semper movet caudam „потому что она все

¹ Ср. стр. 42.

² Долготу гласных я обозначаю предположительно, опираясь для первого слога на этимологию Варрона, а для второго — на греческое соответствие (-τρης из -tak-s).

³ Ср. также деформацию этого слова moticella, в ит. cutretta „трясогузка“ -etta воспринимается, конечно, как уменьшительный суффикс, но, несмотря на это, в слове cutrettola был создан новый суффикс того же рода.

время трясет хвостом“, видя в первых двух слогах причастие *mōtus* „приведенный в движение“. Очевидно, что мнение латинского грамматиста ошибочно, потому что форма *motacilla* вызвала бы очень много трудностей у того, кто хотел бы объяснить ее как производную от *motus*; однако несомненно, что Варрон отмечает здесь то, что видели в этом слове его современники — присущее птичке свойство, выраженное гр. *σεισπούς*, „трясогузка“, ит. *coditremola*, вульг.-лат. *coda trepida* „трясущая хвостом“, откуда ит. *cutretta* (и *cutrettola*) „трясогузка“ с си- как результатом влияния *culo* „зад“ (гр. *σεισπούς* содержит πούη „зад“), фр. *hoche-queue*;ср. также Пульчи (*Morgante Maggiore*, XIV, 52):

E la cutretta la coda menando
Si vede

„И видишь трясогузку, трясущую хвостом“.

К очень отдаленным временам восходит слово, которое в латинском и славянском языках обозначает „топор“: лат. *secūris*, др.-болг. и др.-русск. *секира* и т. д. То обстоятельство, что славянское слово не является, повидимому, заимствованием из латинского¹, позволяет предположить для эпохи индоевропейского единства существование слова **sekūr*, по крайней мере в некоторых диалектах, в частности послуживших основанием для латинского и славянского языков. Этимологи соединяют это слово с корнем **sek-* в лат. *secare* „срезать, обрубать“, др.-болг. *sekā* „поражаю“, русск. *секу*, лит. *i-sekti* „рыть“, др.-ирл. *é-sgid* „сносит, отрубая“, отражая, конечно, впечатление говорящих лиц. Однако объяснить суффикс в этом слове трудно. Поэтому можно предполагать, что оно является заимствованием из какого-нибудь семитского или других языков, из которых оно проникло в индоевропейские, а с другой стороны — и в некоторые семитские диалекты; действительно, мы находим его в ассирийском *šukurru* „секира для сражения, топор“ и в евр. *segōr* (в псалме 35,3)². Поэтому индоевропейское включе-

¹ R. Trautmann, *Baltisch-Slavisches Wörterbuch*, 1923, стр. 255.

² Указание на семитские языки было сообщено мне в письме (от 25/VI 1940) языковедом Фердинандом Борком, который, однако, считает, что рассматриваемое слово является заимствованием из индоевропейского языка в семитском.

ние слова в систему корня *sek- является параллелью к только что рассмотренным случаям с *veilleuse* „безвременник“ и *motacilla* „трясогузка“.

В этих случаях¹, следовательно, перед нами возникновение новых слов, поскольку обозначаемый предмет рассматривается совершенно иначе, чем в то время, когда фонетически одинаковое слово обозначало тот же предмет со значением полностью номинативным. Однако здесь семантическое переосмысление остается скрытым: оно не вызвало изменений ни в форме, ни в отношениях с обозначаемым предметом; вдобавок оно может не быть принято во внимание многими лицами, которые употребляют слово в его номинативном значении, не представляя себе того описательного значения, какое слово способно принять.

В других случаях тенденция к истолкованию может привести к изменениям как в значении слова (т. е. в отнесении к новому предмету), так и в его форме; в этих случаях мы говорили о народной этимологии. Следовательно, это явление имеет два аспекта: слово или сближается с другими, близкими по звучанию (но различного происхождения), в результате чего меняет свое значение, или же сближается со словами, близкими по значению, и в результате меняет свою форму. Второй аспект, как материально более ощутимый, встречается чаще.

Мы уже сталкивались со словами, которые меняют свое значение под влиянием других, близких по звукам; среди них ит. *posare*, фр. *poser* в значении „класть“, в которых продолжения форм *posui* „положил“, *positus* „помещенный“ повлияли на развитие форм от *pausare* „останавливаться, отдыхать“ (см. стр. 116). Подобно этому *periculum* вначале имело значение „испытание, опыт“ в соответствии со своей первоначальной связью с *peritus* „опытный“ от *experior* „испытываю“; такое значение сохраняется прежде всего в сочетании *periculum facere* „испытывать, проверять“ и в производном *periclitari* „испытывать“ (*periclitatus sum anīptum tūsp* „я испытал свою душу“, Плавт, *Amph.*, 914); со значением „опыт, проба“ мы находим это слово у Цицерона (*Leg.*, I, 1, 4), когда он говорит о своей поэме „*Marius*“: *Sed tamen non*

¹ Ср. случаи, относящиеся к *amicus* „дружеский“ и т. д. (стр. 115 и сл.).

nulli isti, Attice noster, faciunt imperite, qui in isto periculo non ut a poeta sed ut a teste veritatem exigant „Некоторые, однако, как наш Аттик, поступают неискусно, стремясь найти истину в этом опыте не как поэт, а очевидец“. Вскоре, однако, значение этого слова суживается и сводится к понятию „риск, опасность“, что мы находим уже у Плавта; очевидно, здесь сказалось влияние созвучия с *perīte* „гибнуть“. Слово сохранилось со значением злополучия, которое оно имеет во всех романских языках.

Orbus значит „лишенный“, но вначале ему было присуще особое значение „лишенный родителей или детей“, как, впрочем, и близкие гр. ὄρφανός „сырый“, гот. *arþja* „наследник“, арм. *orb* „сирота“; чтобы выразить „лишенный глаз“, Овидий (*Met.*, V, 9) говорит *orbus lumine*, а Плиний, чтобы обозначить „отсутствие одного глаза“, употребляет *orbitas luminis*. Однако позднее *orbus* стало обозначать исключительно „слепой“ и с таким значением перешло в романские языки; на это семантическое развитие повлияло, конечно, сочетание *orbes oculorum* „глазные впадины, орбиты“, а также просто *orbes* (Овидий, *Am.*, I, 8, 16) в значении „глаз“.

Исп. *bellaco* „мошеннический“ перешло в итальянский язык как *vigliacco* „подлый“, но тотчас же приобрело значение „трусливый“ под влиянием *vile* „трусливый, подлый“ (от которого еще в староитальянском образовалось *vigliaccio* „трусливый“¹).

Mōrōsus (*morositas*) „своенравие, упрямство“ является производным от *mōs* „нрав“ и в классической латыни означает „капризный, недовольный“; но уже у Арnobия² оно принимает значение „медленный, опаздывающий“, которое мы еще сегодня находим в ит. *debitore moroso* „неисправный должник“, очевидно, под влиянием *mora* „опоздание“; подобным же образом *iterare* „повторять“ из *iterum* „еще раз, вторично“ в поздней латыни, начиная с Венанция Фортуната, было переосмыслено как „путешествовать“ под влиянием *iter* „путь“ и как таковое дает начало ст.-фр. *errer* „путешествовать“, от которого еще сохраняется причастие в выражениях *chevalier errant*, *juif errant* (перешедших в итальянский язык как *cavaliere*, *ebreo errante*) „странствующий рыцарь“, „вечный жик“.

¹ REW, № 9328 и 9335.

² Латинский писатель IV в.—Прим. ред.

Древнее *sōdēs* (из *si audes*) „если хочешь, если тебе нравится“, употребленное как формула вежливости в обращении к кому-нибудь, было воспринято в вульгарной латыни и понято как своего рода обращение, образованное от *sōdālis* „товарищ, друг“, с последующим употреблением в этом значении, например в „*Querolus*“ (стр. 27, 7, Пейпер): *per te tuosque, mi sodes, te rogo* „ради тебя и твоих близких, друг мой, прошу тебя“ и т. п.¹

Наконец в своей живо изложенной брошюре „*L'histoire des mots*“² Бреаль указывал на *confusion qui s'est faite dans les esprits entre vil* (из лат. *vilis* „ничтожный“) и *vilain* (из *villanus*, собственно „житель деревни“) «путаницу, которая происходит в результате смешения *vil* „подлый, низкий“ и *vilain* „виллан“» и на *parenié qu'on croit sentir aujourd'hui entre habit et kabillé* „родство, которое чувствуется сегодня между *habit* и *habillé*“; действительно, *habiller* „одевать“ пишется с *h* по сближению с *habit* „одежда“, но на самом деле более древним было *abillier*, образованное от *bille* „брус, готовый для обработки“, и обозначавшее „приготовлять“³.

Ограничусь небольшими примерами, относящимися к более часто встречающимся и, несомненно, более примечательным случаям народной этимологии⁴, когда имеет место изменение формы.

Один такой пример, который, насколько мне известно, ускользнул от внимания профессиональных языковедов, встречается у Бельтрамелли⁵: в диалекте Романьи вместо *stifelius* „длинное парадное платье“ было создано *vestito felius*, так как в начальном сочетании *sti-* видели диалектное *vsti* „платье“.

Латинское заимствование *orichalcum* „желтая медь“ из ὄρειχαλκος „желтая горная медь“ было переделано в *aurgi-chalcum* под влиянием *augum* „золото“; вместо παρουσίου

¹ Последние три примера приведены по работе Lofstedt, Some changes of sense in Late and Medieval Latin, „Eranos“, XLIV, стр. 340 и сл.

² Париж, 1887, стр. 24.

³ Другие примеры см. Thurneysen, „IF“, XXXI, стр. 279 и сл.; Wackernagel, „KZ“, XXXIII, стр. 49 и сл., где речь идет о ложных истолкованиях гомеровских текстов.

⁴ Самый термин (*Volksetymologie*) восходит к Фёрстману, который употребил его впервые в „KZ“, I, стр. 1 и сл.; см. Curtius, Grundzuge der Griechischen Etymologie, II, стр. 22.

⁵ „Tutti i romanzi“, изд. Mondadori, I, стр. 587, прим.

„ногтоеда“ стали говорить *panaricium*, потому что *pānus* обозначает также „опухоль“, а образованное от него *patereccio* „ногтоеда“ превратилось в итальянском языке в *patereccio* „ногтоеда“, очевидно под влиянием *patire* „страдать“.

В лат. *scutella* „поднос“ имеется краткий и. Прямое продолжение этого слова в итальянском языке — *scodella* „тарелка“, хотя в Тоскане говорят и *scudella*, как во французском языке *écuelle* „миска“. Другие романские языки также имеют формы, образованные от *scūtella*, в котором й обязан своим наличием слову *scūtum* „щит“, рассматриваемому благодаря круглой форме обозначаемого им предмета как этимон указанного слова.

Лат. *vagabundus* „странствующий“ было воспринято, помимо итальянского (*vagabondo* „бродяга“) и французского (*vagabond* „бродяга“), также испанским языком, но в последнем слово подверглось переосмыслению и стало *vaga-mundo* [по-итальянски мы сказали бы *giramondo* „бродяга, тот кто кружит по миру“ (*mundo*)].

Лат. *circulus* „круг, кружок“, повидимому, уменьшительное образование от *circus* „круг“, представляет собой, скорее, переделку соответственного гр. *κύκλος* „круг“¹.

Гр. Ἀφροδίτη „Афродита“ является заимствованием из семит. *Astoreth*, но переосмыщленным и переделанным в соответствии с ἀφρός „пена“ и глагольным прилагательным от δέατο „появлялся“ (ср. скр. su-dī-tis „который имеет большой блеск“), как это отметил Хирт². Таким образом, имя богини стало истолковываться „та, которая появилась в пене“ (или: которая сверкает) в соответствии с мифом о рождении богини из моря, если только, наоборот, этот миф не был создан в соответствии с именем; во всяком случае это образование достаточно древнее, потому что корень *dei-a слабо представлен в греческом языке, причем только в архаическую эпоху, а причастие прошедшего времени страдательного залога -dī-to- не засвидетельствовано нигде, помимо этого имени.

Лат. *amphora* „амфора“ со временем перешло в германские языки, где оно проявляется, например, в англосакс. *ambor* и др.-в.-нем. *ambar*. Однако после того, как,

¹ Bartoli, в совместной работе Bartoli-Vidossi, Lineamenti di linguistica spaziale, 1943, стр. 48, прим. 97.

² „Der indogermanische Vokalismus“, 1921, стр. 134, 190.

кроме амфоры с двумя ручками, стали изготавлять ведра с одной дужкой, слово это было переосмыслено и изменено, в результате чего появились др.-в.-нем. *einbar*, *eimbar* (> нем. *Eimer* „ведро“), др.-сакс. *ēmþer*, повидимому, сложение из *ein*, ён „один“ и корня от *beran* „нести“; как следствие для сосуда с двумя ручками было создано (с элементом *zwī* „два“) др.-в.-нем. *zuuþar*, *zuubar*, *zubar*, откуда нем. *Zuber* „ушат, чан“.

Как показал Г. Алессио¹, фр. *vignoble* „виноградник“ восходит в конечном итоге к галл. **vīnobrigos* „гора вина“ (собственно „участок на склоне, обработанный под виноградник“), которое является источником германской кальки **wīno-berga-*, откуда нем. *Weinberg* „виноградник“. Но **vīnobrigos* объясняет непосредственно только форму *vīnobre*, засвидетельствованную в одной хартии 1053 г.; вместо этого слова появляется *vīnoblīum* в одном документе 1256 г., и, наконец, в 1320 г. засвидетельствовано *vīnoblūm*, латинизация слова *vignoble*. Последний переход явно обязан введению *vīgne* „виноградная лоза“ в слово, связь которого с *vinum* „вино“ была ослаблена с тех пор, как последнее слово стало произноситься *vē*. Что касается первого перехода, т. е. перехода *-bre* в *-ble*, то он произошел, повидимому, в результате сближения слова с другим, обозначающим другую важную часть сельскохозяйственного владения, т. е. *étable* „хлев“, которое, естественно, и вошло вместе с виноградником в перечень частей земельного владения. Понятно поэтому, что одно из двух слов, уже похожих друг на друга, полностью приспособилось к другому, тем более, что конечное сочетание *-bre* было, если не ошибаюсь, изолированным в этой семантической области. В то время как во включении *vīgn-* вместо *vīn-* мы обнаруживаем обычную „народную этимологию“, включение *-ble* представляет собой аналогичное явление в суффиксальной части.

Нечто подобное мы находим и в некоторых латинских названиях животных. Птица *fīcedūla* „винноядник“ получила, очевидно, свое название за те действия, которые ей приписывает итальянское название (фр. *becfigue*, нем. *Feigendrossel*, гр. συκαλ(λ)!ς); в слове легко заметить сложение из *fīcus* „смоква, фига“ и *-ēdūla*, имя деятеля от

¹ „Sull'etimologia del fr. *vignoble*“. Выдержка из XXVII т. „Studi Romanzi“, Рим, 1937.

edō „ем“. Менее ясна этимология слова *monēdula* „сорока“. Потт¹, ссылаясь на воровскую натуру этой птицы, предполагал происхождение этого слова от **monētēdula* „пожирательница монет“, что, с фонетической точки зрения, могло бы рассматриваться как гаплология. Нидерман² кладет в основу **moni-ēdula* с **moni-* „драгоценный камень“, что соответствует скр. *maṇi-* „драгоценный камень, жемчуг, драгоценность“. Однако Плавт дает форму *monērūla*, которая заставляет нас подозревать, что это слово не имеет ничего общего с *edo*, тем более, что сорока не поедает, а утаскивает названные предметы; правда, переход *d* в *r* — нередкое явление в латинском языке, где оно, происходя из умбрского, закрепилось в деревенском диалекте, а *monerūla* является деревенским словом. Я склонен, однако, видеть в *monerūla* диссимиляцию от *monēlūla*, образованного от **monēle*, эквивалентного *monile* „ожерелье“, для обозначения контраста между темным цветом оперения вплоть до шеи и белым цветом на шее; таким образом, это название является древним наименованием сороки как „птицы с ошейником“³. Если, следовательно, *monerūla* — более древняя форма, то *monēdula* обязана влиянию слова *ficedūla*.

Так возникла целая группа названий птиц; сюда вошли название водяной птицы *querquēdula* „чирок“, также *quer-*

¹ „Etymologische Forschungen“, I, изд. 1, стр. 89.

² „IR“, X, стр. 235, где рассматриваются также другие образования на -ēdula, -ēdulus.

³ Исидор (*Origines*, XII, 7, 5) отмечает: *Monedula avis, quasi monetula, quaes cum aurum invenit, aufert et occultat* „Сорока — птица, ворующая монеты; когда она находит золото, то поднимает и прячет“. Цицерон говорит в речи в защиту Валерия Флакка (XXXI, 76): *Non plus aurum tibi quam monedulae committendum* „Тебе можно доверять золото, не больше, чем сороке“. Здесь мы находим происхождение этимологии, предложенной Поттом, и даже, пожалуй, нечто большее. В итальянском языке *mulacchia* „галка“ является названием птицы, похожей на сороку; Томмасео (*Dizionario*, III, стр. 404) считает, что это слово восходит к *monēdula*. Однако конец слова объясняется из -t(u)la; это заставляет нас думать, что встречающееся у Исидора слово *monētula* не является просто формой, предположенной для данного случая епископом Севильи, чтобы произвести этимологию слова *monēdula*, но приобрело такой вид в силу народной этимологии, которая сблизила его со словом *moneta* „монета“. В *monētula* можно допустить переход *p* в *l* под влиянием диссимиляции предшествующему носовому звуку и ассимиляции суффиксальному *l*, откуда **molecchia* и **mulecchia* (ср. *molino* „мельница“ из *molīnum*), переделанные в *mulacchia* под влиянием, например, *gracchia* „самка галки“ (из *grācula*).

quētūla, возможно, заимствование из гр. *χερκιδόλις*, хотя в отличие от этого слова и скр. krakaras, kṛkaras „рябчик“ и т. д. оно не является звукоподражательным образованием. Во всяком случае -ēdula выступает здесь явно по образцу ficedūla, monedūla, а quercu- первых двух слов, возможно, переделано из cerc- (т. е. kerk-), чтобы найти в слове quercu- „дуб“ соответствие слову *fico* „смоковница“ из ficedūla, хотя дуб и водяная птица не имеют ничего общего между собой. Однако в народной этимологии встречаются случаи сближения, еще менее оправданные с точки зрения смысла.

Несомненно, заимствованием является слово *corydalus* „жаворонок“ из гр. *χορύδαλος*; но и оно было вовлечено в ряд слов на -ēdula, и одна глосса (CGL, V, 59, 1) свидетельствует форму *coredulus*.

Нелегко доискаться и происхождения *acredula*, по-видимому, название маленьких лягушек или птицы¹, которое, очевидно, образовано или переделано в соответствии с только что рассмотренными формами; с другой стороны, *nīēdula* „белка“ — несомненная переделка из *nīēla* „полевая мышь“, как заметил Нидерман; представляется совершенно излишней предложенная им для объяснения этой переделки гипотеза, что *ficedula*, став *ficella* и *ficela*, образовала *tertium comparationis*.

Влияние этого рода, когда значение определяет собой форму, не ограничивается образованием или использованием некоторых суффиксов, как суффиксы определенной глагольной формы, например лат. -scō для начинательных глаголов, или суффиксы для выражения некоторых значений, как -iō в *resto* „расчесываю“, *flecto* „гибаю“, *plesto* „сплетаю“, *pecto* „связываю“, выражают категориальные значения. Помимо этого, часто встречается и прямое образование одного слова по соответствию с другим, синонимичным, путем простого изменения немногих звуков, конечно, в соответствии с описательным значением, которое имеется в сознании того, кто создаст новое слово. Речь здесь идет о народной этимологии, сохраняющей морфологические рамки слова и имеющей дело с целостным словом, а не с отдельной его частью, как, например, в случае с *aurichalcum* „желтая медь“ или ра-

¹ Harder, „Glotta“, XII, стр. 137 и сл., и Sofeg, „Glotta“, XVII, стр. 11 и сл.

naricium „ногтоеда“, которые, несмотря на введение в них понятия „золото“ или „опухоль“, все же остаются неясными для говорящего в своем образовании и описательном значении. Примером другого рода могут служить ит. *stagione* „время года“ и фр. *saison*; эти слова восходят к лат. *stationem* и *sationem* с совершенно различными внутренними значениями: первое указывает на „остановку“ или, лучше сказать, на „поворотный пункт“ в протекании года, причем этот образ был, несомненно, взят из того значения, которое имело *statio* „станция почтовой службы“; второе — на „время сева“. Вероятно, *satatio* является более древним словом, поскольку оно более распространено не только во французском, провансальском, каталанском, испанском и португальском языках, но также в латинском и некоторых диалектах северной Италии¹; дойдя до порога центральной Италии, *satatio* было заменено *statio*, которое существовало с другим значением и было переосмыслено для выражения понятия „время года“.

Здесь сыграл свою роль начальный *s*-, но прежде всего конечное сочетание *-atio* (*-at ionem*); следовательно, перед нами рифмующие слова, рифма, послужившая для образования другого слова, синонимичного, но основанного на различном восприятии обозначаемого предмета. Это является основой так называемых рифмующих слов или корней, например гр. (F)ἀγυμι „ломаю“, (F)ἀγῆ „сломал“ и ῥήγυμι² „сокрушаю“; лат. *frangō* „ломаю“, *frēgī* „сломал“ (с *fr-* из *sr-* = *ρ-* от ῥήγυμι вместо ἐρράγη или из *bh-?*); гот. *brikan* „ломать“, *brekum* „мы сломали“; скр. *bhañj-ánti* „ломают“ (образованное как *frangunt* „ломают“) и т. д. Основу рифмующих слов изучал Ф. А. Вуд³, а затем Гюнтерт в своей книге об образованиях такого рода в греческом и арийских языках⁴; например, φάμαθος „песок“, объясняется там как ἀμαθός, переделанное по φάμιλος, и, наоборот, ἀμίλος „песок, аrena“ — как переделка из φάμιλος в соответствии с ἀμαθός; *cimulus* „куча, гнездо“ — как рифмующее слово, созданное из *tumulus*

¹ „REW“, № 7616.

² Возможно, что благодаря этому сходству *Fagymi* „ломаю“ уступило свое F другой системе, ср. Fr γέις „разрыв“ у Алкея (фрагм. 149).

³ „Rime-words and rime-ideas“ („IF“, XXII, стр. 133 и сл.).

⁴ H. GÜNTERT, Ueber Reimwortbildungen im ARIischen und Altgriechischen, Гейдельберг, 1914.

„холм“¹. Ср. в греческом языке такие группы, как δύρφος, γύρφος „темнота“, а также κύρφας, φύρας „темнота“.

Подобным же образом могут быть объяснены случаи синонимов, которые имеют сходную форму во многих индоевропейских языках, но предполагают исконные формы с различными начальными звуками; таковы лат. *em̄* „ покупаю“, лит. *im̄* в сопоставлении с гот. *nima* „беру“; лат. *vermis* „червь“ и в.-др.-нем. *wurm*, др.-русск. *вермис* „черви (в собиральном значении)“ по отношению к скр. *kṝmīs*, лит. *kirmīs*, др.-ирл. *cruimh* — все со значением „червь“; слова со значением „змея“: лат. *anguis*, гр. ἔχις и ὄφης (φ из γήθ), скр. *áhiṣ*, лит. *angis*. Впрочем, возможно, что в последних двух словах действовал принцип табу, согласно которому слово, рассматриваемое по мотивам священным или суеверным как не подлежащее произношению (запрещенное), претерпевает изменения; это происходит, между прочим, с названиями частей тела, например с названием языка, которое в латинском (*lingua* из древнего *dingua*) и в германском (гот. *tuggo*) языках восходит к *d̄nḡhūā, в балтославянском (др.-болг. *językъ*, др.-prusск. *insuwis*) — к *ŋghū-, в тохарском (*käntwa-*) — к *gh̄n̄d̄uā, т. е. отмечается различие форм латинских, германских и т. д.²

Разновидность явления рифмы можно заметить там, где, помимо рифмы, одинаковым является начало слова, но имеются различия в середине, как, например, в лат. *vesper*, гр. ἑσπέρος „вечер“, которым в литовском языке противопоставлена форма *vakaras*, др.-болг. *veсeгей*; др.-ирл. *fescor* с первых слов и задненёбным звуком вторых слов представляется результатом их контаминации.

Близкую аналогию со всеми рассмотренными до сих пор явлениями имеет действительно то, с чем мы сейчас столкнулись и что называется контаминацией; она заключается в том, что два слова, различные по форме, но близкие по значению, дают начало третьему слову, явля-

¹ Конечно, рифма может вызвать семантические изменения; например, Гюнтерт считает, что *gētō* „охаю, вою“, вначале „быть полным“ (ср. гр. γεμω), могло изменить свое значение в соответствии с *fremō* „реву“, *tremō* „дрожу“.

² Pisani, Toch. A. *kantu und das id. Wort fur „Zunge“* („KZ“, LXIV, стр. 100 и сл.). О табу ср. W. Havers, *Neuere Literatur zum Sprachtabu*, „Sitz.-ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Klasse“, 223/5, 1946.

ющемуся результатом их взаимной деформации. Так, Р. А. Халл¹ объясняет, между прочим, ит. *attraccare* „пришвартовывать“ как контаминацию слов *attaccare* „привязывать“ и *tarre* „тащить“; тисса „дойная корова“ — из *mungere* „доить“ и *vacca* „корова“; *pozzanghera* „грязная лужа“ — из **pozzacchera* (близкого к *pillacchera* „брьзы и грязи“, ср. эмилианск. *rosiacstra*) и *fango* „грязь“. Подобно этому англ. *naught* „ничего“ с *trifle* „пустяк“ дали начало *nifle* и т. д. Контаминация может иметь место также между словами того же корня, например ит. *trivello* „сверло“ из лат. *terebellus*, переделанное в соответствии с *tri-* из *trivi* „тёр“, *tritum* „тертое“, *tribulum* „молотило (конное)“ (> ит. *tribbio* „цеп“).

Важное значение контаминации с большим подъемом разъясняет В. Вартбург², который говорит о ней (*Kreuzung*, собственно „скрещение“) как о „способе создания слов“. И действительно, она входит в общий принцип, согласно которому все языковые образования, не ограничивающиеся простым и чистым подражанием существовавшим до этого моделям, опираются на аналогию с одной или несколькими моделями, по которым преобразуют другую модель, в морфологическом или семасиологическом отношении. Поэтому мы можем заключить, что каждое новое слово является до некоторой степени результатом скрещения двух или нескольких прежде существовавших слов.

¹ „Language“, XV, стр. 34 и сл.

² „Miscellanea linguistica dedicata a Hugo Schuchardt per il suo 80° anniversario“, Женева, 1932, стр. 116, прим. 1.

VIII

СЕМАНТИКА

В предыдущих главах нам часто приходилось рассматривать изменения в значении, произошедшие по причинам, аналогичным тем, которые вызывали изменения формы; особенно отмечалось это в гл. VII в связи с народной этимологией и смежными явлениями. Обратимся теперь к рассмотрению семантики в том же плане, как и при рассмотрении фонетики и морфологии, с целью выяснить, возможно ли установить в отношении внутренней формы языка (как это мы делаем при рассмотрении двух аспектов внешней формы) общие принципы, которыми может руководствоваться этимолог при выполнении своей задачи.

Разумеется, речь идет не об установлении значения, которое получает производное слово соотносительно со словом, лежащим в его основе, например *auratus* „позолоченный“ по отношению к *aurum* „золото“, *pugnare* „сражаться“ по отношению к *pugnus* „кулак“. Речь идет о преобразовании семантического значения слова, например прилагательного *aurata* „золоченая“, значение которого определяется названием рыбы, *aurata* или *orata* „золотистая форель“, причем первоначальное значение ее может даже быть неизвестным, или *pugnare*, которое вначале обозначало „драться на кулаках“, а затем получило значение „драться“ вообще.

Когда мы говорим, что *aurata* или *pugnare* подверглись изменению в их значении, то мы просто отмечаем результат сравнения двух значений, с которыми употребляется то же слово, но не указываем способа, позволяющего объяснить отношение между обоими значениями. Как мы уже отмечали, *aurata* „золоченая“ и *aurata* „рыба“ фактически являются совершенно различными словами, так

как каждое слово должно представлять собой сочетание формы и содержания¹; поэтому объяснить изменение значения равносильно установлению этимологии нового слова, которое формально идентично старому, т. е. мы должны восстановить весь процесс, в результате которого новое слово было первоначально создано². А процесс здесь один — метафора (в широком смысле), т. е. явление аналогии, параллельное тем, которые, как мы видели, имеют место в фонетике и морфологии³: принцип аналогии, вы-

¹ Это становится сразу же очевидным, если сопоставить, например, *ballo* „танец“ и *ballo* — 1 л. ед. ч. наст. вр. от *ballare* „плясать“, и другие подобные случаи, в которых форма полностью совпадает.

² Kretschmer, „Glotta“, XIV, стр. 223: „Но не являются ли в конце концов все изменения значения кажущимися? Может быть, значение изменяется, как химическое вещество, или развивается, как живое существо? Я полагаю.., что так называемое изменение значения представляет собой вторичное явление; первичный процесс — это употребление слова, наименование, создание слова. Когда эти акты уже совершены, исследователь слов или языковед отмечает изменение значения путем сопоставления нового значения со старым“.

³ Каждый язык — это „словарь потускневших метафор“, согласно определению Жан Поля, приведенному Поттом („KZ“, II, стр. 101) в интересной статье „Metaphern, vom leben und von körperlichen lebensverrichtungen hergenommen“. Метафора часто основывается на рассказе. Так, мы видим, что слово нередко содержит в себе миф или историю. Например, скр. अस्तप- „небо“ и „камень“ получило первое значение от мифа „о небе и камне“; итальянское выражение *costume ad amitico*, „костюм Адама“ для обозначения наготы ведет свое происхождение от библейского рассказа об Адаме, который после грехопадения вдруг видит себя голым и стыдится своей наготы; произнося *sodomitā*, мы думаем (или, по крайней мере, об этом думал создавший первоначально это слово) о мало поучительных обычаях жителей города Содома, о которых гласит библия. Одно время говорили о противоположном явлении — о мифах, созданных словом, что, возможно, в некоторой степени оправдано. Об этом писал Луиджи Чечи в своей книге „Le etimologie dei giureconsulti romani“ (Турин, 1892, стр. 55 и сл.): „Не забудем, что многие мифологические образования и некоторые философские толкования берут свое начало в этимологии или, если угодно, в ложной этимологии“. Макс Мюллер и Мишель Бреаль провозгласили и изложили учение о мифологии как о болезни языка. Против этого энергично выступил Дармстетер („Essais orientaux“, стр. 221), хотя он и признает, что *le langage peut créer des myths secondaires par le choc accidentel des formules mythiques déjà existantes*, „язык может создать вторичные мифы под случайным влиянием уже существующих мифических слов“. Для предмета нашего изложения неважно, может ли этимология создавать первичные или только вторичные мифы. Народная этимология является крупнейшим источником мифов. Народ, как писал один критик,— это наивный философ, желающий разобраться в названиях, которые он знает, и легко прибегающий к истории, чтобы объяснить собствен-

ступающий, таким образом, как основа всякого языкового явления,— психологического характера.

Если мы говорим, что всякое семантическое изменение, т. е. всякое создание нового слова, имеющее место при употреблении без изменений формы уже существующего слова, представляет собой метафору, то это не значит, что всякое метафорическое употребление слова есть создание нового слова в том смысле, в каком мы применяем этот термин. Если я говорю кому-нибудь, что он—осёл, то я использую в метафорическом смысле слово „осёл“, в прямом смысле обозначающее четвероногое животное с длинными ушами, которое ошибочно или спрашивающе считается особенно глупым. Но такое употребление не вносит изменений в значение самого слова; наоборот, оно основано на этом значении, предполагает его наличие, и только при этом условии используемое мною слово пригодно для выражения того, что я хотел сказать человеку, к которому обратился, т. е. что он глуп и невежествен, как осёл. Подобным же образом я могу сказать о ком-нибудь, что он—Наполеон, чтобы обозначить его способность действовать определенным образом; могу также назвать „Наполеон“ картину в моем доме, воспроизводящую внешний облик или эпизод из жизни этого исторического лица. Как в том, так и в другом случае слово „Наполеон“ употреблено как имя интересующего нас лица, и только по этой причине слово получает то значение, которое я придаю ему в соответствующих языковых актах. Однако, когда кто-то впервые употребил слово „Наполеон“ для обозначения определенной монеты, на которой был выгравирован образ императора, относя

ное имя. Миф об Афине, которая рождается из головы Зевса, основан на этимоне τριτογένεια „тритонида“ (эолийск. τρίτῳ означает „голова“). Миф о рождении людей из камней полностью вытекает из ложного этимона λαός „народ“ (λάας „камень“). Миф об Афродите, которая рождается из морской пены, происходит из ложной этимологии (Αφροδίτη), тогда как греческое имя непосредственно произведено из финикик. Ashtōreth (Aphtōreth, Aphrōtēth — Αφροδίτη). В слове Ο.δίπος „Эдип“ народ видит в первой его части элемент со значением „знание“ (εἰδω „я знаю“); относительно второй части — πούς „нога“ — существует легенда, будто Эдип знал загадку „о ногах“ („Что это за животное, у которого утром четыре ноги, в полдень — две, а вечером — три?“). Имя и миф об Эвандре (εὖ ἀνήρ „хороший муж“) возникли в pendant к Cacus (которое связано с κακός „плохой“). Эти гипотезы заманчивы, но мало вероятны. Чечи ссылается на свою книгу „Max Müller e la mitología comparata“, которой я не знаю.

это не к нему лично, а к стоимости, форме, короче говоря, к тому, что составляло понятие монеты, то он создал новое слово, форма которого — „Наполеон“, а значение — „золотая монета в 20 франков“.

Факт нового образования слова особенно нагляден в том случае, когда новое понятие претерпевает изменения, лишающие его тех черт, на которых основана метафора. Например, слово *palla* „шар“, обозначающее нечто сферическое, стало применяться специально для обозначения огнестрельных снарядов, имевших шаровидную форму. Несомненно, что в то время, когда это слово стали употреблять уже не просто для обозначения предмета в форме шара, а как технический термин, обозначавший снаряд, было создано новое слово, которое, однако, в любое время могло быть соотнесено с *palla* „шаровидный предмет“, от которого оно получило свое происхождение. Но с того момента, когда снаряды получили заостренную (оживальную) форму, слово *palla* „снаряд“ потеряло всякую связь с другим словом и получило полную самостоятельность по отношению, например, к слову *palla* „мяч для игры“.

„Est-il possible de formuler les lois selon lesquelles les sens des mots se transforment? .. nous sommes disposés à répondre que non. La complexité des faits est telle, qu'elle échappe à toute règle certaine... Les changements qui surviennent dans le sens tiennent à des causes trop nombreuses... Qui aurait pu prévoir que Phaéton, le dieu du soleil, deviendrait le nom d'une voiture, et que plateforme entrerait dans le vocabulaire courant de la politique? «Возможно ли формулировать законы, в соответствии с которыми изменяются значения слов?.. Мы склонны ответить — нет. Сложность фактов такова, что они не могут быть охвачены известными правилами... Изменения, происходящие в значении, обусловливаются весьма многими причинами. Кто мог бы предвидеть, что „Фаэтон“, бог солнца, станет именем экипажа и что „платформа“ войдет в обычный политический словарь?»

Эти слова, написанные Бреалем в 1887 г.¹, согласуются с утверждениями Б. Террачии, сделанными им в 1936 г.²:

¹ „L'histoire des mots“, Париж, 1887 („Mémoires et documents scolaires publiés par le Musée Pédagogique“, вып. 36).

² „Semantica evolutiva e la persona storica dell'individuo linguistico“ („Actes du Quatrième Congrès international de Linguistes“, Копенгаген, 1938, стр. 110).

«Семантика . . . , родившаяся из тщетных поисков общего закона, который дал бы этимологии надежную основу, сохраняет еще сегодня следы этих тщетных попыток, тщетных потому, что при исследовании семантических изменений и соответствующих „причин“ они оказались более, чем любое другое изменение, непокорными при включении их в схемы общей формулы».

Несомненно, что изменения значения создают картину, весьма загадочную и способную вначале привести в замешательство; но мне кажется, что основная норма все же имеет здесь место и заключается в том, что новое значение, воспринятое словом, уже существовало как вторичное при предшествующем употреблении слова. С полным основанием Мерижи в своей статье „Sulla semantica“¹ упоминает о замечании К. О. Эрдмана, как имеющем „существенное значение“; согласно этому замечанию, „в семантическом содержании слова... мы должны различать не менее трех элементов:

- 1) понятие или основное значение;
- 2) вторичное или дополнительное значение;
- 3) аффективное значение“.

Изменение заключается именно в преобладании „вторичного значения“ или, лучше сказать, какого-то вторичного значения. Например, в значение *carta* „бумага“ входило также значение листа бумаги, на котором схематически были нарисованы и отмечены условными знаками очертания и рельефы определенной части земной поверхности. Когда в какой-то момент *carta* „карта“ (например, Италии, Сардинии) стало употребляться в значении „географическая карта“ и поэтому сделалось самостоятельным словом (вне зависимости от того, начертана ли карта на бумаге или на другом материале), перед нами проявление вторичного значения.

Casa „дом“ обозначало вначале „лачуга“, но включало также значение „жилище“; последнее значение стало потом преобладающим, и, таким образом, возникло новое слово с тем значением, которое оно имеет для нас сейчас.

Чарлз Линч был плантатором в Виргинии и в период американской революции и борьбы против Англии взял на себя вместе с двумя друзьями задачу охранять общество и поддерживать революцию. В этих целях он само-

¹ „Arch. Glott.“, XXVI, 1934, стр. 65 и сл.

стоятельно прибегал к насилию или подвергал изгнанию тех, кого он считал виновным в каких-либо проступках; отсюда стали говорить Lynch-law „закон Линча“ применительно к любому краткому приговору, не основанному на законе, а затем был создан и глагол *to lynch* со значением „наказать незаконно“. Поскольку эти наказания состояли часто в применении смертной казни, *to lynch* стало означать „убивать после краткого судебного разбирательства“, и с этим значением было воспринято итальянским языком в форме *linciare* „линчевать“. Однако часто такие убийства носили характер дикой расправы, учиненной толпой, почему глагол *linciare* (может быть, под влиянием сближения, иссяющего характер народной этимологии, со словом *lince* „рысь“) и сбограчает сейчас именно зверское убийство возбужденной толпой, причем тут не мыслится уже никакого, даже краткого судебного разбирательства. Здесь мы видим переход от одного значения к другому, основанный на вторичных значениях, которые слово постепенно принимало и которые последовательно закрепились в качестве основных значений.

Следствием такого сдвига значения часто являются так называемые катакрезы, когда слово употребляется со значением, противоречащим первоначальному, нередко еще сохранявшемуся. Так, глагол *cavalcare* „ехать верхом“, происходящий, очевидно, от *cavallo* „лошадь“, перешел от значения „ехать на лошади“ к общему значению „ехать на каком-нибудь животном“, а также „ехать верхом на чем-нибудь“; поэтому можно сказать *si cavalca un asino* „ехать верхом на осле“.

Βούχλος — это пастух быков, поэтому *βούχοδεῖν* значит „пасти быков“; но уже Гомер (Y, 221) употребляет его применительно к лошадям, говоря *ἵπποι βούχολέσυτο*¹.

Οἰκοδομεῖν, *aedificare* означали вначале „строить дом“ (*οἶκος*, *aedes* „дом“), но широко были распространены и выражения *οἰκοδομεῖν τεῖχος* „строить стену“ или *aedificare naves* „строить корабли“.

¹ В этот круг фактов входят такие выражения, как употребленные Софоклом (El., 36) *αὐγεόσου ἀσπίδων* „без щитов“ (1002), *ἄλυτος ἀτης* „неопечаленный несчастьем“ (Oed. rex, 101), *αὐλύος ἀσπίδον* „не вооруженный медными щитами“, где понятие „лишенный“, выраженное прилагательным, указывает на отсутствие чего-то, переданного последующим родительным падежом. В гомер. *θωρῆσεν σὺ τεῦχεσιν* (П, 155), *θωράσσω*, собственно „вооружаю броней“, перешло к значению „снабжаю чем-нибудь“.

Tramontare „закатываться“ говорилось вначале о солнце, которое опускается за горы (*monti*); но кто из нас не присутствовал также при закате (*tramonto*) солнца в море?

Если Софокл (*Oed. rex*, 371) пишет: *τυφλὸς τά τ' ὥτα τόν τε νοῦν τά τ' ὄμματ' εἰ* „он был слеп ушами, разумом и глазами“, то здесь метафорическое значение слова *τυφλός* „слепой“ еще достаточно ясно. Но часто слова, обозначающие деятельность органов чувств, получают общее значение и употребляются для обозначения другого чувства, чем то, к которому они относились вначале. Так, Гоголь в „Мертвых душах“ („Сочинения“, т. V, 1953, стр. 73) говорит: „Чуткий нос его *слышал* за несколько десятков верст, где была ярмарка“; Даниловский в романе „Мария Магдалина“ (Краков, 1912, стр. 336) пишет: „*Slyszysz jak cudnie kwitnie ten bujny kraj!*“ „Слышишь, как чудесно цветет этот благодатный край!“ Эсхил (*Septem contra Theb.*, стих 101): *κτύπου δέδορχα* „увидел грохот“: Софокл (*Ajax*, стих 785): *ὅρα μολὼν τόδυ δόποι ἐπη θροῖς* „иди и *посмотри*, какие он произносит слова“: Катулл (LXII, 9): *canent quod visere par est* „будут петь песни, которые приятно будет *видеть*¹. Поэтому, если у Гезихия мы находим гlossenны: *ὄμφα· ὀσμή. λάχονες, ὄμφή· πυού, ποτόμφει· προσέζει* „звук (употребляется в значении) — запах, в латинском — дуновение, звучит — пахнет“, а Атеней (682 с) сообщает, что аркадцы называли „розу“ *εἴομφ[αλ]ός* „благозвучие“ вместо *εἴοσμος* „благоухание“, то здесь не следует думать о связях с сев. *angi* „запах, испарения“². Еще неправильнее прибегать к сложным построениям, которые делает Фриск³, полагающий здесь наличие родства с *ψέφος*, *nepula* „облако“ и т. д.; речь идет об употреблении *ὄμφή* „звук“ вместо „запах“, как у приведенных выше двух славянских авторов.

В своей брошюре о жизни слов Дармстетер⁴ дал своего рода обобщение изменений их значения, которое мы вкратце здесь изложим. Он видит в этих изменениях тропы (мы называем их метафорами в общем смысле) грамматистов, т. е. синекдоху, метонимию и метафору.

¹ Другие примеры см. *Lommel*, „KZ“, I, стр. 266 и сл.

² *Lagercrantz* „KZ“, XXXV, стр. 278 и сл.

³ „Eranos“, XL, стр. 84 и сл.

⁴ Arsène Darmesteter, *La vie des mots, étudiée dans leurs significations*, изд. 2, Париж, 1887.

Синекдоха — замена слов неодинакового объема: род вместо вида, например *confessione* „исповедь“ вместо *confessione* „признание“ (в широком смысле); вид вместо рода, например *casa* „здание для жилья“ вместо *casa* (лат.) „лачуга“; целое вместо части, например *porta* „створки“ вместо *porta* „отверстие в стене и приспособление для его закрытия“; часть вместо целого, например *quaderno* „тетрадь“ (состоит из нескольких *quaderni*, т. е. частей пачки из листа); нарицательное имя вместо собственного, например *Cunctator* „Медлитель“, сказанное о Фабии Максиме; собственное имя вместо нарицательного, например *tartufo* „лицемер, ханжа“ от имени *Tartuffe*, персонажа из комедии Мольера, или др.-ит. *ferraguto* „деревенский разбойник“ из *Ferraguto* (*Ferraiù*) — персонаж из французского эпоса¹.

Метонимия: причина вместо следствия, например *un lavoro* „работа“ (процесс и результат работы — шитье и т. п.); следствие вместо причины, например *una fortezza* „крепость“ (здание крепости); содержащее вместо содержащего, например *un bicchierino* (*di liquore*) „рюмка“ (ликара); содержащее вместо содержащего, например *il ministero* „министерство“ (дворец, где находится управленческий аппарат министерства); место вместо продукта, например *lo champagne* „шампанское“, *il mussolo* „муслин“ (предмет производства в Москуле); продукт или характерная черта вместо места, например *Rovereto*, букв. „дубовый лес“ (местность, где растут или росли дубы — *raveri*); символ вместо предмета, например *la corona* „корон“ вместо *re* „король“; предмет вместо символа, например *la Repubblica* „республика“ вместо символа республики на избирательных бюллетенях конституционного референдума; абстрактное вместо конкретного, например *carità* „милосердие“ вместо *carità* „милостыня“ (*fare la carità* „дать милостыню“); конкретное вместо абстрактного, например *il teatro* „театр“ вместо „театральное искусство“.

Метафора в узком смысле: отношения между материальными предметами, например *tavola* (*di in libro*) „таблица (в книге)“ при *tavola* „стол“; между фактами материальными и моральными или интеллектуальными,

¹ О *ferraguto* см. *Serra*, „Arch. Glott.“, XXXIII, стр. 110 и сл. См. также фундаментальную работу *B. Migliorini*, *Dal nome proprio al nome comune*, Женева, 1927.

например *cuore duro* „жесткое сердце“, *spirito* „дух“ из *spiritus* „дыхание“, и вообще выражение отвлеченных идей в их отношении к конкретным фактам, например *ponderare* „обдумывать“ (собственно „взвешивать“), *comprendere* „понимать“ (собственно „охватывать, схватывать“) и т. д.

Помимо этого, Дармстетер исследовал случаи изменений одного и того же слова и различал здесь два процесса: иррадиацию (*irradiazione* „излучение“) и сцепление (*conatenazione* „цепь“). Иррадиация наблюдается в том случае, когда слово получает различные значения, исходящие каждый раз из первоначального значения; так, например, *radice* „корень“, обозначающее корень растения, может в дальнейшем обозначать квадратный корень, грамматический корень, корень зуба, основание горы. Часто иррадиация имеет место при рассмотрении предмета с различных точек зрения; например, *testa* „голова“, обозначающее верхнюю конечную часть туловища, дает начало сочетаниям *testa di ponte* „предмостное укрепление“ или *testa di una colonna marciante* „головная часть шагающего отряда“; в значении сферического предмета это слово входит в сочетание *testa di uno spillo* „шляпка булавки“; в значении вместилища мысли входит в сочетания *testa debole*, *dura* „слабая, крепкая голова“ применительно к человеку.

Сцепление имеет место в тех случаях, когда каждое новое значение дает начало другому значению; например, *bureau* „материя из грубого зеленого сукна“ стало обозначать „стол, покрытый таким сукном“, затем „любая мебель для занятий“; последнее значение породило другое — „помещение, где находится такая мебель“; далее, этим словом стали обозначать „людей, которые работают в этом помещении“; наконец, слово получило значение „служба, выполняемая такими людьми“. Конечно, оба процесса могут различным способом сочетаться друг с другом.

Другим распространенным процессом является эллипсис. Обычно наблюдается опущение существительного перед прилагательным, что вначале имело место в тех случаях, когда существительное могло легко подразумеваться; например, *generale* „генерал“ вместо *capitano generale* и *la territoriale* „территориальная милиция“ вместо *milizia territoriale* возникли в военной среде; *rapido* „скорый“ вместо *treno rapido* „скорый поезд“ стало употребляться

вначале у железнодорожников, а затем и у обычных пассажиров; *ficatum* „начиненная фигами печень“, откуда ит. *fégato* „печень“, вместо *ficatum iecur* — у людей, связанных с кухней или трактиром; *cattolico* „католик“ вместо *christiano cattolico* — у теологов и духовенства. Если вместо *frater germanus* „родной брат“ в Иберии стали говорить *germanus* (исп. *hermano*, португ. *irmão*), то это было вызвано необходимостью иметь простое выражение для столь обиходного понятия; причем это облегчалось тем обстоятельством, что *germanus* (которое в сочетании с *frater* стало употребляться для выражения понятия „брать“ с тех пор, как *frater* в изолированном употреблении получило значение „монах“) стало ведущим в выражении, где *frater* становилось все более традиционным элементом, лишенным семантического значения благодаря новому значению, которое оно приобрело (ср. стр. 103).

* * *

В частично цитированном нами выше отрывке Бреаль противопоставляет прихотливость семантического изменения регулярности изменения фонетического: последнее дает этимологу точные показатели отношений, тогда как в первом ему не на что опереться. „Фонетические законы“ действительно, как мы видели, подтверждают выводы грамматиста, но приведенное противопоставление весьма обманчиво. Звук является в слове тем же, чем слово в предложении: оба представляют собой составные элементы некоего целого. Далее, наши фонетические законы отмечают не регулярный переход одного звука в другой, а лишь замену в определенном окружении и в ограниченный период времени одного звука другим во всех словах, в которых он встречается в определенном положении. Из этих „фонетических законов“, полностью эмпирических и относящихся к отдельным случаям, нельзя было извлечь какой-либо общий „закон“: если даже какое-нибудь явление и встречается в различных местах и в разные эпохи, например палатализация задненёбных перед *e* и *i*, то это еще не значит, что оно представляет собой факт общего порядка, потому что часто задненёбный звук остается без изменений перед указанными гласными (например, в ит. *che*, *chi*), и результаты палатализации там, где они имеют место, могут оказаться различными.

Равным образом мы замечаем, что в данном коллективе говорящих и в определенный промежуток времени слово получает различное значение, причем во всех тех сочетаниях (или в некоторых сочетаниях), где оно встречается; например, когда *domina* „госпожа“ (>*donna*) заменило *mulier* „женщина“, а *mulier* заменило *uxor* „жена“, это имело место не только в некоторых предложениях, но везде, где употреблялось то или другое слово. Однако отсюда еще не вытекает общий закон, согласно которому от значения „госпожа“ с необходимостью следует переход к значению „женщина“, а от последнего — к значению „жена“, хоть здесь и может быть отмечено аналогичное развитие в разных языках; так, например, в немецком языке *Frau* „госпожа“ все больше вытесняет *Weib* „женщина“, а во французском *femelle* „женщина“ заняло место древнего *oissour* из *uxor*, „жена“. Подобно тому как фонетическое изменение обычно распространяется вначале в нескольких словах и уже оттуда путем аналогии переходит (если только переходит) на весь языковой материал, так и лексическое изменение в первую очередь происходит в отдельных предложениях, где оно может остановиться или откуда может быть перенесено в другие предложения, пока новое значение не станет обычным и общим в языковых актах, принятых в определенной среде.

То обстоятельство, что изменения, подобные отмеченному выше случаю со словом, обозначающим „госпожа“ (с последующим значением „женщина“ и далее „жена“¹), встречаются в различных языках, может быть приписано определенным общим тенденциям — не скажу, человеческого духа, но, во всяком случае, мышления людей, находящихся в тесном культурном общении, в однородных условиях. Но наряду с этим мы встречаем и изменения, связанные с особенностью среды, а потому неповторимые. Например, только в среде первых христиан с их особым восприятием мира и жизни могли вначале иметь место некоторые семантические изменения, которые отличают позднюю латынь или романские языки от классической или, во всяком случае, нехристианской латыни. Укажем на такие слова, как *martire*, которое вначале означало

¹ Ср. лат. *lacertus* „мускул руки“ и *lacertus* „ящерица“ с *musculus* „мускул“ и „мышца“, гр. *μυς* „мускул“ и „мышь“, новогр. *πούστιος* „мышь“ и „мускул“.

„свидетель“, но которому христианство присвоило значение „ тот, кто подтверждает правоту своей веры жертвой собственной жизни; мученик“; *devoto*, которое от значения „посвященный, верный“ перешло к значению „благочестивый“; *raganis*, которое у римлян значило „обыватель“ в противоположность *miles* „воин“ и которому христиане, с их пониманием жизни как *militia Christi* „служение Христу“, придали значение „нехристианин“; наконец, *praedicare*, которое больше не означает „возвещать“ и в сочетании *praedicare evangelium* „сообщать благую весть“ употребляется только для обозначения речи духовного лица, предназначенной для поучения верующих¹.

Подобные изменения наблюдаются и в среде экономической, промысловой или профессиональной и т. д. Например, из речи моряков пришло ит. *arrivare* „прибыть“, которое вначале обозначало „достичь берега (*riva*)“, *accostarsi* „приблизиться“, вначале „приблизиться к берегу (*costa*)“, затем фр. *plonger* „погружать“ из *plumbicare*, т. е. „погружать в воду свинец для зондирования“, и др. К деловой речи восходит при конечном анализе ит. *stimare* „уважать“ из лат. *aestimo*, -что „оцениваю“, которое Хаве² считал отымененным образованием от **aes-tumos* „бронзовщик“ (с *-tumo-* из *-temo-*: гр. *τέμ-ω* „режу“). К речи архитекторов восходит *appoggiare* „поддерживать“ от *podium*, архитектурного термина, обозначающего „основание, постамент“.

Слово *furuncolo* „фурункул“ возникло в среде врачей, которые изменили значение слова *furunculus*, сельскохозяйственного термина, обозначавшего „боковой побег виноградной лозы“ (из *fug* „вор“, отсюда „который отнимает сок у главных ветвей“), затем „набухание почки“.

Нескольких примеров, произвольно выбранных, достаточно, чтобы показать необходимость для этимолога (о чем мы уже говорили на стр. 72) установления с максимальной точностью среды, в которой возникает новое слово, и понятия, которое в момент создания оно призвано было выражать и которое необходимо знать в его конкретных частностях; это методическое требование выдвигали перед этимологами те языковеды (Мерингер, Мейер-Любке, Шухардт и др.), которые провозгласили лозунг „*словá и вещи*“ (*Wörter und Sachen*).

¹ Rheinfelder, *Kultursprache und Profansprache in den romanischen Ländern*, Женева, 1933.

² „*Mémoires de la Société de linguistique*“, VI, стр. 18.

Так, например, во Франции, Италии и особенно в Испании распространено слово *готман*, *готмано*, *романо*, обозначающее „противовес в безмене“, а иногда путем синекдохи и самый „безмен“ (исп., ит. *готмана*, фр. *готман*). Здесь нет никакой связи со словами *Roma* „Рим“ и *Romanī* „римляне“, по крайней мере ее не было вначале, хотя не исключено, что некоторые говорящие, воссоздавая это слово, думали о „римских“ весах; это значение было подмечено в данном слове тем немцем, который создал кальку на своем языке, назвав безмен *römische* „римский“. В действительности же, тот, кто первый создал слово для обозначения противовеса, приспособил для этого арабское название гранатового дерева *гуттān*, потому что противовес в безмене имел форму граната; в прямом значении гранатового дерева *гуттān* еще встречается в португ. *готā*, означающем „плод“, и *готеира* „растение“¹. Любопытства ради добавим, что арабское название гранатового дерева вначале, кажется, обозначало именно „римский“, отсюда „римский плод“, который римляне называли *талим Punīcūm* „пунический плод“.

Подобным же образом ит. *rubinetto* „кран“, заимствование из фр. *robinet*, рядом с которым стоит *robin*, вначале было названием *robin* „баран“, потому что кранам придавалась форма головы барана. Так же объясняются и другие названия этого рода, как фр. *гриф* „гриф“, нем. *Hahn* „петух“ > „кран“, англ. *cock* „петух“ > „кран“ и т. д. Все это аргументировано в тщательном исследовании Геринга²,

¹ Bertoldi, „Italia Dialettale“, VIII, стр. 81 и сл.; Lokotsch, № 1729.

² „Ueber den Zapfhahn und seine Namen in Frankreich“ („Festschrift Jaberg“, Галле, 1937, стр. 259 и сл.). Здесь Геринг подробно говорит о фр. *chanterepleure* (> ит. *cantimplora*) „сосуд для хранения на льду вина и т. д.“ — название прибора, наполняемого соответствующей жидкостью. Этот прибор представляет собой пустотелый сферический корпус с дырочками, связанный с трубочкой, который погружается в жидкость. Последняя проникает в него через дырочки, затем корпус извлекается из жидкости, причем пальцем закрывается свободный конец трубки; невозможность проникновения воздуха препятствует вытеканию содержимого. По мнению Геринга, это название хорошо отражает „пение“, производимое жидкостью, проникающей в аппарат, и „плач“ ее, когда после открытия трубки жидкость каплями вытекает из него через дырочки. Нельзя отрицать, что таково именно современное значение этого слова и что здесь действительно можно слышать пение и плач. В доказательство своего сообщения Геринг приводит многочисленные доводы. Однако я склонен видеть в слове

который в конце своей работы делает вывод о так называемой „анимализации“, т. е. языковом обозначении предмета названием животного или части тела животного. По мнению Геринга это может иметь место «на основе tertium comparationis, которое народ устанавливает между животным и предметом, однако чисто абстрактно; в других случаях наименование опирается на реальное представление о предмете в виде животного (что связано иногда с суеверными представлениями). Примером первого типа является *gru* „журавль“, обозначающее приспособление для подъема тяжести, соотношение длины частей которого напоминает строение птицы-журавля. Примером второго типа может служить слово *galletto* „петушок“ (указатель направления ветра; сейчас им может служить флюгер и т. д.): фигура птицы помещалась на башне как символ бдительности.

Словом *pes* „нога“ обозначалась нижняя часть сосудов или потому, что мастера придавали ей форму ноги (отсюда название), или же потому, что этой части придавали форму в соответствии с ее названием. То же и *stóbra* и *os* „рот“ со значением „носик сосуда“, основанные на образном представлении головы человека либо животного, или наоборот. В конце концов подобные факты обуславливаются единством человеческого духа, который то создает название по форме предмета, то создает изобразительную форму, исходя из представления о предмете. Даже если бы в этих случаях образное представление и существовало ранее, то слова *pes* и *os*, фр. *pied*, *ventre*, *bœc*, нем. *Fuss* „нога“, *Bauch* „живот“, *Schnauze* „морда“, использованные для названия частей сосуда, генетически восходили бы к образу некоего *tertium comparationis*, и речь шла бы о наименованиях в соответствии с первой группой».

Необходимость возвести слово к обозначаемому предмету и восстановить историю того и другого для выяс-

chantepleur (ж. р.) древнее *chantaplora* (на территории Прованса), переделку в духе народной этимологии — после целого ряда неизвестных нам изменений — греческого названия прибора — *χλεψόρχ* „водяные часы“; можно предполагать, что одним из этих изменений были замена элементом *χλεπτ-* (в соответствии с *χλεπτης* „вор, обманщик“ и т. д.) элемента *χλεφ-* и две метатезы — *-рт-* в *-тар-* (перестановка и вставка, связанные с переходом слова в латинский язык) и переход I из первого в предпоследний слог: фр. *-plora*, *-pleure* „плачет“ легко объясняется из *-pludra*.

нения правильности этимологии слова может быть показана на примере фр. *hommage* „присяга, обещание, уважение“, источника для ит. *omaggio* „обет, уважение“. В „REW“ (№ 4170) среди производных лат. *homo* „человек“ приводятся также *hompage* и прованс. *hompatge* (откуда исп. *homaje* и португ. *homenagem*). Несомненно, что первое слово является источником производных форм или, точнее, что *hommage* и *homenatge* представляют собой результат фонетического развития производного слова от *hominem* с суффиксом *-age*, *-atge*, восходящим к *-aticum*; однако от нас ускользает процесс зарождения значения слова. Здесь необходимо принять во внимание средневековое установление, согласно которому *hominium* (поздне-латинское слово, употреблявшееся рядом с *homagium* как латинизация народного слова) — это *servitium seu obsequium*, *quod homo seu cliens vel servus praestare tenetur* „служба или подчинение, которое обязан был проявлять человек-клиент, раб“¹. Для освобождения от этого *hominium* употребляли формулу, указывающую на значение этого установления: *Praeterea... talis sis ingenuus tanquam si ab ingenuis parentibus fuisses procreatus vel natus... nec mihi impendas servitium nec hominum nec libertaticum nec ullum obsequium* „Потом... ты будешь таким же свободным, как и произведенный на свет или рожденный свободными родителями... И ты не будешь обязан мне ни службой, ни зависимостью, ни каким-либо видом подчинения“. Отсюда видно, что *homo* обозначало кого-то в положении между *servus* „раб“ и *libertus* „вольноотпущенник“. В дальнейшем *homo* „человек“ становится термином феодальной конституции, поскольку *homines appellari coepere vassalli et clientes, qui ratione beneficiorum ac feudorum dominis suis, speciali ad id facta professione, quae ex hoc hominum et homagium dicta est, fidem et servitium, seu militiae vel placitorum, aut quodvis aliud debebant* „homines, людьми начинают называться вассалы и клиенты; последние, будучи заинтересованы получить бенефиции и феоды от своих господ по специально сделанному на этот случай официальному заявлению, названному поэтому *hominium* и *homagium*, в свою очередь обязуются соблюдать верность и повиновение, неся военную службу или исполняя

¹ Определение, взятое из работы D u c a n g e, *Dictionarium mediae et infimae latinitatis*, используемой и в дальнейшем.

предписание, или что-либо иное“. Это подтверждается и отрывком из Генри Брактона¹, согласно которому — это *juris vinculum quo quis tenetur et astringitur ad warrantizandum, defendendum et acquietandum tenementum suum in seisina (=possessione) versus omnes per certum servitium in donatione nominatum et expressum; et etiam vice versa, quo tenens reobligatur et adstringitur ad fidem domine suo servandam et servitium debitum faciendum* „юридическая связь, в соответствии с которой кто-либо (сеньор) обещает и обязуется гарантировать и охранять спокойное владение против всех, выполняя обязательства, предусмотренные актом дарения, тогда как другой (вассал) обязуется и обещает сохранить верность своему господину и исполнять требуемую службу“. В „Leges Alphonsinae“ (IV, 25, 4) сказано: *Et homenaje tanto quiere decir, como tornarse home de otri, et facerse como sujo, para darle seguranza sobre la cosa que promete de dar, o de facer, que la cumplia* „Один из видов феодальных отношений заключается в том, что один человек поступает на службу к другому и при этом становится как бы своим; все, что он обещает дать или сделать, он должен выполнить“. Сюжет говорит о *cathedra* „престоле“ короля Дагоберта, на котором *reges Francorum, suscepto regni imperio, ad suscipienda optimatum suorum hominum* ритуум седere consuevere „франкские короли, приняв королевскую власть, сидели, принимая впервые присягу от знатнейших лиц своего государства“. В церемонии „принесения присяги“ вассал произносил формулу такого содержания: *Devenio homo vester de tenemento... et fidem vobis portabo contra omnes gentes...* „Я становлюсь зависимым от вас по земельному владению человеком... и обещаю вам верность против всех людей“; во французском: *Jeo deveigne votre home de cest jour en avant* „Я становлюсь с этого дня и впредь вашим человеком“, тогда как женщины во избежание двусмыслиности, которую создавало слово *femine* („женщина“ и „жена“), а также потому, что *home* „человек“ уже обозначало также *vir* „муж“, говорили: *Jeo face a vous homage...* „Я даю вам обет“.

Церемония *ommaggio* так описана в „New tenures“ сэра Томаса Литтльтона (85): *quant le tenant fera l'hommage à son Seignior, il sera discint, et son test discouvert, et son*

¹ „De legibus et consuetudinibus Angliae“, II, 1, 35, § 1.

Seignior seera, et le tenant genulera devant luy, sub ambe-deux genues, et tiendra ses maines extendes, et jointes ensemble entre les mains le Seignior „Когда держатель приносит присягу своему сеньору, то снимает с себя пояс и обнажает голову, а сеньор его садится, и вассал преклоняет перед ним колени и вкладывает свои вытянутые и сложенные вместе руки в руки сеньора“. У испанцев было принято целование руки, как предписывали „Leges Alphonsinae“ (IV, 25, 5): besar debe la mano el vassallo al señor, quando se face su vassallo „становясь вассалом, вассал целует руки сеньора“. В Дофине и в Провансе целовали большой палец руки. По выполнении обряда уважения вассал допускался к целованию губ и рук сеньора (*homage de bouche et de mains*), от чего женщины иногда освобождались.

Это значение в прямом смысле мы находим еще в средневековой французской поэзии (на *langue d'oïl*); Берные в „La houce partie“¹ говорит о богатом человеке из Абвилля, который

d'Aberville vint a Paris,
ilueques demora tout quoi,
et si fist homage le roi,
et fu ses hom et ses borgois.

„Из Абвилля приехал в Париж.
Там он будет жить совершенно спокойно,
если даст обет верности королю
и станет его вассалом и буржуа“.

Однако в провансальской лирике, относящейся к куртуазной литературе, язык которой в значительной мере пользуется феодальной терминологией, мы находим *homagatge* в смысле „обет верности любви“. Переход от феодального значения к значению эротическому наблюдается в „Pastorela“ Маркабрю², где *vilayuna* „поселянка“ так отвечает предприимчивому поэту, который, несмотря на то, что он *hom ric* „богатый человек“, склоняет ее к *companha ge* „сожительству“:

Don, hom cochatz de folhatge
iur'e pliu e promet guatge:

¹ Bartsch, Chrestomathie de l'ancien français, изд. 8, кол. 303, стр. 34 и сл.

² Appel, Provenzalische Chrestomathie, 1895, стр. 102, стих 64 и сл.

si'm fariatz homenatge,
senher, so dis la vilayna;
mas ges per un pauc d'intragé
no vuelh mon despiuzelhatge
camiar per nom de putayna.

„Тогда человеку, обуреваемому безумством,
хоть и клянется он и дает обещания,
так отвечала поселянка:
Сеньор, хотя вы мне обещаете верность в любви,
но я не хочу за связь с вами (право на вход)
сменить мою девственность
на положение распутной женщины“.

Указанный переход значения наблюдается и в „*Lo rosinholet salvatge*“ Госельма Федита¹.

Anc no falsei mon viatge
vas leis cui mos cors s'autreja,
pos l'aigui fait homenatge,
e non ai cor que'm recreja
ja del seu servir.

„Никогда я не изменю своего поведения
в отношении той, кому принадлежит мое сердце.
После того как я дал обещание,
у меня нет намерения когда-либо отказаться
от служения ей“.

В канzonе „*Ar mi posc eu lauzar d'amor*“ Карденаля²
мы читаем:

Ni dic qu'eu mor per la gensor
ni dic que'l bela'm fai languir,
ni non la prec ni non l'azor,
ni la deman ni la dezir,
ni no'l fauc homenatge,
ni no'l m'autrei ni'l mi sui datz,
ni no sui seus endomenjatz;
ni a mon cor en guatge,

¹ Bartsch, Chrestomathie provençale, изд. 2, кол. 140, стих 12
и сл.

² Bartsch, Chrestomathie provençale, изд. 2, кол. 170, стих 33
и сл.

ni sui sos pres ni sos liatz,
ans dic qu'eu li sui escapatz.

„Я не говорю, хотя бы из вежливости, что умираю,
не говорю, что красавица заставляет меня страдать.
Я не прошу ее ни о чем и ничем не тревожу,
ничего не требую и не желаю.
Я не даю ей обещания,
не уступаю и не отдаю ей себя.
Я не вассал,
и она не владеет моим сердцем.
Не пленник я ее и к ней не привязан.
Говорю вам, я избавился от ее власти“,

где *pi'l faus homenatge* сочетается со всем рядом феодальных терминов.

Во французском языке развитие было более разнообразным; в XII в. переход в область эротическую уже заканчивается. У Куси (XIX) мы читаем: *celle que j'ai de cuet fait lige homage* „та, которой по влечению сердца я свободно отдаюсь“. Вскоре метафора утверждается и в других областях, и когда Филипп де Коммин (VII, 2) говорит, например; *Il avoit bien envové paravant un secrétaire pour traiter que le duc de Milan, son neveu, fust receu à hommage à Genes par procureur* „Вперед он послал секретаря договориться 'о том, чтобы герцог Миланский, его племянник, с уважением был принят в Генуе прокурором“, то здесь мы видим лишь внешнее проявление уважения. Затем произошли и другие изменения, которые привели к современному употреблению этого слова, например в выражении *rendre à quelqu'un l'hommage d'une chose* „уступать кому-нибудь из уважения“ или *adresser ses hommages à la Divinité* „выражать свое почитание божеству“.

Иногда поводом к наименованию служит событие, произошедшее. Лерх¹ рассказывает, что когда-то в Берлине говорили *du bist Manoli* вместо „ты с ума сошел“, основанием чего явилась светящаяся реклама папиресной фабрики „Manoli“, название которой прихотливо изменялось

¹ „KZ“, LIII, стр. 281.

на этой рекламе, так как лампочки зажигались и гасли в направлении, обратном движению часовой стрелки. Царцанос¹ излагает историю слова *ούζο*, распространенного в Греции для обозначения одного сорта виноградной водки: некто Думеникотис, фабрикант ликеров в Тирнаве в Фессалии, заставил однажды своего друга отведать в своем магазине продукцию новой перегонки; этот друг, большой энтузиаст, восхликал: *αὐτό εἶναι ούζο Μασσαλίας*, „это изготовление Марселя!“ Услыхав это, некоторые из присутствующих попросили дать им попробовать *ούζο Μασσαλίας*, откуда выражение *ούζο* (равнозначное ит. *uso* в коммерческих и кулинарных выражениях: *uso Colonia, uso funghi*) распространилось как название нового ликера сначала в Фессалии, а затем и во всей Греции.

* * *

Выдвинутое нами положение о том, что слово, чтобы приобрести значение, должно было уже иметь его в качестве второстепенного значения, подтверждено теорией Вартбурга относительно „семантических полей“², образуемых или обычно употребляемым словом (с определенным значением) и его синонимами, аффективными и шутливыми, или другими словами, которые обозначают смежные и побочные понятия и внутри которых имеет место семантический сдвиг. Например, рядом со словом, означавшим „петух“, в Нормандии существовало юмористическое наименование *bigey* „викарий“; когда вследствие омонимии, возникшей между нормандскими продолжениями лат. *gallus* „петух“ и *cattus* „кот“, совпавшими в *gat*, последнее стало двусмысленным, за этим словом сохранилось значение „кот“, а для обозначения „петух“ стали говорить *bigey*, но уже без оттенка иронии, как обычное наименование. Наоборот, когда французский язык в определенный момент почувствовал необходимость помешать подобной омонимии, возникшей между продолжениями лат. *mulgere* „доить“ и *molare* „молоть“, совпавших в *moudre*, он сохранил старое слово для обозначения „молоть“, а для обозначения „доить“ стал употреблять *traire*, которое указывало на

¹ „IF“, LII, стр. 217 и сл.

² W. v. Wartburg, *Betrachtungen über die Gliederung des Wortschatzes und die Gestaltung des Wörterbuches*, „Festschrift Jaberg“, стр. 296 и сл.

вспомогательные действия — растирание вымени, чтобы облегчить вытекание молока.

Разумеется, сдвиги в значениях имеют место не только внутри узких „семантических полей“, установленных Вартбургом, который (стр. 302 и сл.) указывает на такие случаи, как *nager* (из *navigate* „плыть на судне“), начавшее в XV в. заменять *noeg* „плавать“ (из *notare*) после того, как последний глагол стал омонимом слова *noeg*, теперь *noeg* „связывать“ (из *nodare*); здесь следует иметь в виду второстепенное значение глагола *nager* „быть на поверхности, плыть“, выступившее на первое место и позволившее этому глаголу занять место глагола *noeg*. Во всяком случае, необходимо помнить вывод Вартбурга (стр. 304 и сл.), что „слово не замыкается в себе как индивид, но должно пониматься как часть его семантической группы“, в которой оно занимает место, определенное другими словами, входящими в состав данной группы. Этот принцип уже в 1910 г. утверждал Рихард М. Мейер¹, указывавший, что, например, „майор“ получает свое точное значение в ряду, в который входят „капитан“, „полковник“ и т. д., и что значения так называемых синонимов относительно ограничены внутри системы; Мейер пришел к выводу, что „семантическая система представляет собой сочетание ограниченного числа выражений с точки зрения индивидуальной“, т. е. в зависимости от определенного способа рассматривать действительность, от круга деятельности, установленного литературного типа и т. д.

В заключение упомяну о правильном выделении Вартбургом среди семантических групп, строго ограниченных и в общем постоянных, таких групп, как названия частей тела, отношений родства, метеорологических явлений, повседневных фактов человеческой жизни (пить, есть, спать), а также групп, которые с течением времени подвергаются коренным изменениям: названия предметов одежды, государственных учреждений, систем транспорта, короче говоря, всего того, что создано самим человеком. Но швейцарский ученый должен был бы отметить и то обстоятельство, что даже первые семантические группы не являются неизменными, помня, например, такие случаи, как различие дядей со стороны отца и дядей со

¹ „Bedeutungssysteme“ („KZ“, XLII, стр. 352 и сл.).

стороны матери, различие, которое было присуще латинскому языку, но исчезло в языках романских. Подобного рода факты входят в общий круг явлений, в условиях которых вся „реальность“ в конечном итоге рассматривается человеком в соответствии с его собственной оценкой, причем он пренебрегает иногда некоторыми объективными данными: *πάντων χρήματων μέτρῳ ἐστιν ἀνθρώπος*, „человек — мера всех вещей“ является основным принципом для языка, а следовательно, и для человеческого мышления.

Принимая слово *bīgey* „викарий“ как термин, означающий „петух“, мы имеем дело с тем случаем, когда слово утратило свое аффективное значение и стало обычным термином, можно сказать, техническим. Читатель помнит, что Эрдман различал в семантическом содержании слова, помимо его основного и второстепенного значений, также значение аффективное; в значительном числе случаев изменение значения и состоит именно в исчезновении определенного аффективного значения, в результате чего второстепенное значение становится главным. Это проявляется прежде всего в переходе уменьшительных образований в слова обычного типа, что особенно наблюдается в романских языках и даже в вульгарной латыни по сравнению с придворным и литературным латинским языком. Например, слово *auricula* „ушная раковина“ в латыни понималось еще как уменьшительно-ласкательное образование от *auris* „ухо“, например в „*Asinaria*“ Плавта, где Леонида обращается к Филинию со следующими словами:

Dic igitur me passerculum gallinam coturnicem,
agnellum haedillum me tuom dic esse vel vitellum,
prehende auriculis, compara labella cum labellis.

„Называй меня воробушком, курочкой или перепелкой,
зови меня своим ягненочком, козленочком или
телеочком,
. тяни за ушки, прижимай губки к губкам“.

Хотя слово *auricula* „ушко“ и сохраняет еще в течение некоторого времени свое аффективное значение, по крайней мере в литературном языке, например у Горация (*Sat.*, I, 9, 20): *demitto auriculas ut iniquae mentis asellus*, „я опускаю ушки, как ослик в дурном расположении“, где чувствуется легкий юмористический оттенок, все же

это слово вскоре заменяет собой *auris* в письмах, т. е. в разговорном языке Цицерона, который говорит об *auriculam mordicus auferte* „откусить ухо“ (*Ep. ad Q. fr.*, III, 4, 2); отсюда ит. *orecchia* „ухи“.

Факт перехода слов с аффективным значением в ряд обычных наименований является общим и дает нам ключ к разъяснению значительного числа семантических сдвигов. Укажем, например, что многие метафоры для названий частей тела, употреблявшиеся вначале в плане комическом или ироническом, в конце концов стали обозначать в романских языках только эти части тела. Так, *testa* „печной горшок“¹ дало ит. *testa* „голова“ и фр. *tête*, тогда как **testulum*, уменьшительное от *testu*, имевшее, кроме аффективного значения метафоры, вероятно, и ироническое значение, связанное с суффиксом, дало начало ит. *teschio* „череп“; подобным же образом из *cirra* „чашка“ образовалось ит. *corolla* „затылок“; др.-фр. *sachevel* „череп“ образовано от *caccabellus* „горшочек“ и т. д. Кроме того, слово *cucurbita*, которое, как и ит. *zucca* „тыква“, употребляется в комическом смысле у Петрония (39) и Апулея (*Met.*, I, 15) для обозначения глупого человека (*nos cucurbitae caput non habemus* „у нас голова не как тыква“), с метафорой, базирующейся как на форме, так и на приторном вкусе этого плода, появляется в македоно-румынском языке в виде *cucurbéta* со значением „голова“ и „затылок“. *Bucca*, означающее „щеки“, особенно если они раздулись от воздуха или от пищи, через посредство таких выражений, как *bucca excitare foculum* „щекой раздуть огонь в очаге“ (Ювенал, III, 262), *implere buccam* „надуть щеку“ (Катон у Геллия, II, 23), перешло в название *bosca* „рот“. Вместо *umerus* „плечо“ в романских языках употребляются производные от *spatula* (ит. *spalla* „плечо“ и т. д.); *spatula* же, собственно „лопата, лопаточка“, вначале употреблялось в значении „лопатка свиньи“, у Апиция (IV, 174). *Gamba* „нога“, фр.

¹ Гольдбергер в своей работе „Kraftausdrucke im Vulgarlatein“ („Glotta“, XVIII, стр 8 и сл, и XX, стр 101 и сл) указывает на выражения комиков *caput ei testatum diffregero* „разобью ему голову как горшок“ (*Juvent*, 7) и *i am istam calvam colafis comittinissest testatum tibi* „ударом кулака размозжил бы тебе череп, как горшок“ (*Помпоний*, 179) как на вероятные показатели того, что метафора возникла здесь из сравнительных выражений (*diffringam tibi caput ut testam* „разобью тебе голову, как горшок“)

jambe и т. д., которое заменило собою *crus* „нога“, восходит к гр. *χαμπτή* „изгиб“, употреблявшемуся вначале для обозначения скакательного сустава у лошади. Эти указания я извлекаю из известной работы Гольдбергера об экспрессивных выражениях в вульгарной латыни (ср. примечание на стр. 163), который собрал (также и для других семантических областей) обширный материал относительно употребления метафор, богатых аффективными элементами, и перехода их в обиходные слова; например, исп. *hablar* из *fabulari* „болтать“ вместо *loqui* „говорить“, исп. *quejar* „плакать“ из *coaxare* „квакать“, ит. *cercare* „искать“ из *circare* „идти вокруг“ вместо *quaerere* „искать“, и т. д.

* * *

Большая часть элементов, образующих значение слова, находит любопытное отражение в так называемых „противоположных образованиях“, на которые впервые обратил внимание Зоммер¹. Например, в *proavis* „прадед“ элемент *pro-* обозначал вначале, что лицо, о котором мы говорим, родилось раньше, чем *avis* „дед“; однако после того, как добавочное значение усилительности („больше, чем дед“) одержало верх, стали говорить также и *properos* „правнук“. Для перевода фр. *fond* „глубина, фон“ применительно к картине в немецком языке стали употреблять *der Grund* „фон“, которому противопоставлялось *das Vordere* „передний план“ как перевод фр. *devant*; однако *vorder* „передний“ вызвало антонимическое *hinter* „задний“, и это дало *Hintergrund* — плеонастическое образование, где обе части сложного целого обозначали примерно одно и то же — „то, что находится позади“ и „фон“. Но поскольку в *Hintergrund* семантически возобладал первый элемент, *das Vordere* тоже перешло в *der Vordergrund*, где мы видим определенное противоречие в понятиях. Говоря о воде *acqua salata* „соленая вода“, мы мыслим в понятии *salata* и ее второстепенное значение — „противоположная сладкой“; отсюда *acqua dolce* „пресная вода (бук.: сладкая)“, которая в этом случае мыслится как несоленая.

¹ Ferd. Sommer, Konträrbildungen, „Festschrift Windisch, 1914, стр. 123 и сл. Ср. также Kretschmer, „Glotta“, VII, стр. 266 и сл.; X, стр. 42 и сл., 172 и сл.; J. B. Hofmann, „Glotta“, XV, стр. 47 и сл.; E. Fraenkel, „Glotta“, стр. 86.

Аналогичным образом объясняются такие выражения, как pane nero „черный хлеб“ (в сущности серый) в противоположность pane bianco „белый хлеб“; vino bianco „белое вино“ (в сущности желтое) в противоположность vino nero „черное вино“; deflazione „дефляция“ в противоположность inflazione „инфляция“ и т. д.¹

Частично в эту категорию входят также активное и пассивное значения, которые мы часто находим у одного и того же слова, например у ит. dial. imparare „учиться“, употребляемого также в значении „обучать“. Можно сказать, что в подобных случаях основное значение слова становится в конце концов нейтральным и преобладание мало-помалу получает второстепенное, скрытое значение. Такие случаи мы находим в скр. ghoṣa- „шум“ рядом с др.-перс. gauša- „ухо“; скр. caṅkusa- „свет“ и „глаз“; нем. riechen, которое, как и ит. odorare, обозначает как „испускать запах“, так и „вдыхать запах“; ит. vista „зрение“, которое, как и гр. ὄφεις „зрение“, обозначает и чувство и его объект, и т. д.²

Аналогичны этим фактам в известном смысле и так называемые отрицательные отыменные образования. Еще В. Шульце³ отмечал, что противоположность лит. vóžiu „снимаю крышку“ и латышск. vážu „покрываю“ легко объясняется, если рассматривать оба слова как отыменные образования от *vāžas „крышка“, употреблявшегося то в значении „класть“, то в значении „снимать“. Шульце со-поставлял с этим нем. köpfen — отыменное образование от Kopf „голова“, обозначающее „обезглавливать“. Подробно этим вопросом занимался Скутч⁴, который в ответ на попытку Панцерхельм-Томаса восстановить значение „войско“ для слова populus „народ“, поскольку в его отыменном образовании populari⁵ содержится значение „опустошить“, заявил, что populari означает в действительности „обезлюdzić“, как и его производное depopulari, и, следова-

¹ Как это отмечал Кречмер, речь здесь идет в основном о явлении, аналогичном суффиксальным образованиям, например diurnus „дневной“ в соответствии с nocturnus „ночной“ (ср. νύκτωρ „ночью“); ср. также шуточное образование Цицерона facteon „то что должно быть сделано“ в соответствии с ποιητέον (Ер. ad Att., I, 16, 13).

² Lomme l., „KZ“, L, стр. 262 и сл.

³ „KZ“, XXVIII, стр. 280.

⁴ „Glotta“, III, стр. 201 и сл.

⁵ Мнение Панцерхельм-Томаса бесплодно возобновляли последующие ученые.

тельно, принадлежит к отрицательным отыменным образованиям, как лат. *retare* „очищать русло реки от деревьев“ [букв.: „отнимать у рек *retae*“, т. е. *arbores quae aut ripis fluminum eminerent aut in alveis eorum extarent* „деревья, которые растут на берегах рек или находятся в их руслах“ (Геллий, XI, 17, 4)]; с этим он сравнивал также глаголы *spoliare*, „раздевать“, *sanguinare* „истекать кровью“, *pilare* „удалять волосы“. К этим примерам Нольдеке¹ добавил между прочим англ. *to head* „обезглавить“ (*head* „голова“) и гр. *σαρκίζειν* „очищать от мяса, ободрать“; Френкель — гр. *ῥαχίζειν* „сломать спину“²; наконец, я отмечу еще гор. *kapillon* „стричь“³, ит. *fate la barba* „брить“, англ. *to dust* „сметать пыль“ (*dust* „пыль“) и т. д.

Близко к предыдущим явлениям стоит, наконец, и то, которое мы находим в лит. *âklas* „слепой“, формально тождественном лат. *oculus* „глаз“, затем в скр. *kārṇás* „глуховатый“, очевидно то же, что и *kárpas* „ухо“, и с изменением ударения между именем деятеля и названием действия или орудия в гр. *τόμος* „острый“ и *τόμος* „кусок, часть“ и т. д.

На этом я кончулю. Настоящая глава не претендует на систематическое изложение семасиологии; задача ее — указать только некоторые точки зрения в этой области, имеющей для этимолога, как и вообще для лингвиста, первостепенное значение, поскольку она рассматривает духовную часть слова, т. е. то, что придает значение и жизнь слову, в то время как внешняя, звуковая его форма — это только чисто физическое явление: *emittit spiritum tuum et creabuntur* „они (слова) возникают при дыхании“.

¹ „Glotta“, III, стр. 279.

² „Clotta“, IV, стр. 43. Другие примеры см. у Solmsen, „KZ“, XXXVII, стр. 600 и сл.; Frenkel, „KZ“, XLII, стр. 237.

³ Очевидное заимствование из лат. *capillare* от *capillus* „волос“ подобно *pilare* „удалять волосы“ (> *pelare*) от *pilus* „волос“.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В качестве примера приведем краткое исследование о словах со значением „площадь“ в итальянском и русском языках, показав на этом примере, как с помощью имеющихся в нашем распоряжении средств можно разобраться в лабиринте различных возможных гипотез.

Сравним два слова с одинаковым значением: ит. *piazza* и russk. *площадь*. В отношении формы общим у них является только начальный согласный; однако человек, несколько знакомый с нормальным фонетическим развитием, может попытаться продолжить сопоставление этих слов и поискать между ними возможную связь; конечно, мы предполагаем, что ему незнакомы предшествующие фазы развития обоих слов.

Так как значительная часть начальных ит. *ri-* восходит к более древнему *pl-* (*pieno* < *plenus* „полный“, *piano* < *planus* „ровный“, *rieva* < *plebem* „народ“, *riù* < *plus* „больше“ и т. д.), то сразу возникает предположение, что именно последнее сочетание и лежит в основе *ri-* в слове *piazza*, а не лат. *ri-*, что тоже возможно (*pietà*, *pietà* < *pietas*, *pietatem* „любовь, милосердие“). Слав. *o* может быть продолжением как *a*, так и *o*, ит. *a* в общем предполагает древнее *a* или *ā*; поэтому, продолжая гипотезу, можно возвести к *pla-* первый слог как русского, так и итальянского слова. На то, что именно *pla-*, а не *riā* составляет основу элемента *riā-* в слове *piazza*, указывает фр. *place*, *pl-* которого может быть возведено только к лат. *pl-*.

Подтверждение этой гипотезы можно найти и во втором слоге: чем больше мы имеем совпадающих элементов, тем больше вероятность того, что сравнение правильно. Глухой ит. *-zz-* может восходить к лат. *-ti-* перед гласным (*vezzo* < *vitium* „порок, недостаток“, *durezza* < *duritia*

„жесткость“, *tizzone* < *titionem* „головня“ и т. д.); в свою очередь русск. -šč-(и) может восходить к -tj-, а русск. *a* — быть продолжением как б, так и а. Поэтому в плане этой гипотезы оба вторых слога рассматриваемых слов могут быть объединены на предшествующей стадии в элементе -tjā-. Таким образом, при отсутствии засвидетельствованных предшествующих форм развития русского и итальянского слов чисто фонетическая реконструкция привела бы к форме *platjā, из которой непосредственно можно было бы вывести оба слова, если не принимать во внимание добавление в русском слове суффикса -d- (ð'). Что касается формы *platjā, то она могла бы восходить как к индоевропейской эпохе (и.е. *platjā дало бы лат. *platio и русск. *площа), так и к той эпохе, когда в латинском еще следовало говорить *platia, а tj в славянском еще не перешел в šč и a не перешел в o; следовательно, эта форма восходит по крайней мере к началу вульгарнолатинской эпохи. Разумеется, мы не можем сказать ничего относительно оснований, по которым это слово оказалось в латинском и в славянском языках; тут я предостерегаю тех, кто хотел бы возвести данное слово к периоду индоевропейской древности только потому, что фонетика не противится этой гипотезе.

С другой стороны, мы знаем предшественников ит. *piazza*: в латинском языке *platea* „улица“ (а не *platia), из которого итальянское слово выводится одинаково легко, поскольку перед гласным te тоже может быть в основе глухого ит. -zz-; ср. *pozzo* „колодец“ из *rūteus* „колодец“. Таким образом, русское слово явно отрывается от итальянского. Но, проникая вглубь истории слова *piazza*, мы находим, что лат. *platea* является заимствованием из гр. πλατεία, формы женского рода от πλάτος „широкий“; гр. πλατεία еще до вульгарнолатинской эпохи стало *platia*, которое позднее перешло в диал. *plátia* или *platíá*¹. Именно к одной из этих греческих форм и восходит ст.-слав. *площадь*, которое через литературу и церковнославянский язык перешло в русский язык в виде *площадь*. Теперь остается только объяснить „суффиксальный“ -dī. Так как суффикс -dī встречается в славянском языке крайне редко, то я склонен думать, что в основе славянского языка

¹ πλατείά, ж. р. от πλάτειός; см. Thurnb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, изд. 2, 1910, стр. 66.

лежит непосредственно гр. им. п. мн. ч. *platjádes* (πλατείδες), образованный как *χεράδες*, *μανιάδες*, *χορφάδες* и т. д. из *χερά* „женщина“, *μάνυα* „мать“, *χορφή* „вершина“.

Но тут перед нами возникает новая трудность. Русское и старославянское слова с недавнего времени стали возводиться к **ploskjadī*¹ или -*ēdī*, производной форме, образованной при помощи суффикса -*jadī* или -*ēdī* от *ploskū* „плоский, ровный“. Это вполне нормально с точки зрения фонетической; семантически же *ploštadī* находится в таком же отношении к *ploskū*, как *πλατεῖα* к *πλατός*. И поэтому вполне естественно, что в языковом сознании говорящего русского часто замечается близость между *плоск-* и *площадь*.

На пути этой этимологии, которая оперирует исконным материалом (ср. стр. 118 и сл.), стоят различные препятствия:

1. Слово „площадь“ является исключительно древнеболгарским (отсюда оно перешло в русский язык); другие славянские языки употребляют для обозначения понятия „площадь“ или исконное слово, выражающее понятие „рынок“ (*trúgū*), или иноязычные заимствования; ср. нов.-болг. *pazar* (из турецкого языка) и *čaršija* (неизвестного мне происхождения); серб. *riјаса* (из итальянского) и *trg*; чешск. *veřejné prostranství* (парафраза: „общественное пространство“), *náměstí* „рыночная площадь“, *trhovište* (из *trúgū*);польск. *plac publiczny* (из нем. *Platz*), *rynek* (из нем. *Ring*) и *targ*². Этим исключается как существование слова „площадь“ в более или менее древнюю эпоху славянских диалектов, так и вероятность того, что идея названия „площадь“, в основу которого было положено „плоскость“, возникла независимо от славян. Поэтому следовало бы допустить, что *ploštadī* образовано от *ploskū* согласно отношениям между *πλατεῖα* и *πλατός* и что древнеболгарское слово является калькой.

2. Безударный суффикс -*jadī* редко встречается в славянских языках и обычно имеет в них лишь собирательное значение³: др.-болг. *čeljadī*, русск. *челядь*, польск.

¹ Например, Vondrák, Vergleichende Slavische Grammatik, I, изд. 2, стр. 655; Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen, стр. 252.

² Все эти слова приведены по работе Miklosich, Dictionnaire abrégé de six langues slaves, 1885, стр. 540 и сл.

³ Vondrák, Vergleichende Slavische Grammatik, I, изд. 2, стр. 655.

gawiedz' „чернь“, чешск. havēd „дичь“, сербо-хорв. (только слова, обозначающие детенышей живых существ) pastorčād „пасынки“, bliznād „близнецы“. Кроме того, с -jadī (-ēdī) образуются от прилагательных и некоторые отвлеченные существительные, обозначающие лицо или предмет, характерной чертой которого является качество, выраженное прилагательным: сербо-хорв. gnilad „гниль“, др.-болг. zl-ēdī „зло“, русск. *чернядь* „черный цвет“, *рухлядь, пестрядь* (русские слова пишутся также с -ed' и, возможно, восходят к -edī). В эти же категории может быть помещено и слово ploštadī; однако непонятно, почему, образовав кальку из гр. πλατεῖα в соответствии с πλάτος, здесь не прибегли к форме женского рода от ploskū, т. е. ploska, и не использовали более подходящий и распространенный суффикс вместо редкого и неподходящего -ēdī (-jadī).

БИБЛИОГРАФИЯ¹

По вопросам этимологии, помимо лингвистических пособий, см. Thurneysen, *Die Etymologie*, Фрейбург и Берлин, 1904; B. Teigracini, *Etimologia* („Enciclopedia Italiana“, XIV, стр. 455 и сл.; с богатой библиографией).

Глава I. По истории этимологии в античный период см. Steinthal, *Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern*, изд. 2, Берлин, 1890; Reitzenstein, *Etymologica (Real-Encyclopädie der Altertumswissenschaft)*, Pauly-Wissowa, VI, 1, кол. 1807—1817. См. также Венефельд, *Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland*, Монако, 1869; „Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft“ (ранее под ред. Streitberg'a; некоторые разделы); исторические разделы в „Grundriss der romanischen Philologie“, под ред. Gröber'a и в „Grundriss der germanischen Philologie“, под ред. H. Paul'я. Исторические справки имеются также в пространном введении к работе G. Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie*, изд. 5, Лейпциг, 1879.

Глава II. Рассматриваемые здесь проблемы неоднократно обсуждались мною, особенно в статьях, собранных теперь в томе „Linguistica generale e linguistica indeuropea“, Saggi e discorsi, Милан, Libreria Editrice Scientifico-Universitaria, 1947; см. также Pisani, *Le lingue indeuropee*, Милан, 1944. В индоевропейское языкознание вводят моя небольшая работа „Introduzione alla linguistica indeuropea“, 1944, и книга „Glottologia Indoeuropea. Manuale di grammatica comparata delle lingue indeuropee, con speciale riguardo del greco e del latino“, Рим, 1943.

В этих пособиях можно найти также обширную библиографию общих работ по языкознанию. Здесь мы ограничимся указанием лишь на некоторые распространенные этимологические словари по разным индоевропейским языкам.

а) Индоевропейские языки вообще:

A. Fick, *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen*, I, изд. 4, *Wortschatz der Grundsprache, der arischen und westeuropäischen Spracheinheit*, Геттинген, 1890; A. Wälde, *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen* (изданный и обработанный J. Pokorny), Берлин и Лейпциг, 1927—1932; [I. Рокорну, *Indogerma-nisches etymologisches Wörterbuch*, Берн, 1951]. Маленький сравнитель-

¹ Данное в квадратных скобках пополнено редакцией.

ный словарь имеется также у V. Pisani, *Crestomazia indeuropea*, Турин, 1947.

б) Санскрит:

C. C. Uhlenbeck, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache*, Амстердам 1898—1899; [M. Mayrhofer, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, Гейдельберг, 1953].

в) Иранские языки:

C. Bartholomae, *Altiranisches Wörterbuch*, Страсбург, 1904; P. Horn, *Grundriss der neopersischen Etymologie*, Страсбург, 1893¹; H. Hübschmann, *Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache*, Страсбург, 1887.

г) Армянский язык:

H. Hübschmann, *Armenische Grammatik*, I. *Armenische Etymologie*, Лейпциг, 1897; ср. также указатель ко второму изданию книги у A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Вена, 1936.

д) Греческий язык:

E. Boisacq, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, изд. 3, Гейдельберг и Париж, 1938; [J. B. Hofmann, *Etymologisches Wörterbuch des Griechischen*, Мюнхен, 1949].

е) Албанский язык:

G. Meuerg, *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache*, Страсбург, 1891.

ж) Окско-умбрский и латинский языки:

F. Müller Jzn, *Altitalisches Wörterbuch*, Геттинген, 1926; A. Walde, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, изд. 2, Гейдельберг, 1910; изд. 3, под ред. J. B. Hofmann, Гейдельберг, 1938—1954; A. Ernout et A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, изд. 2, Париж, 1939.

е) Романские языки:

W. Meuerg-Lüke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, изд. 3, Гейдельберг, 1935; W. v. Wartburg, *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, Гейдельберг, 1922 и сл. (продолжается опубликование); O. Bloch — W. v. Wartburg, *Dictionnaire étymologique de la langue française*, Париж, 1932; E. Gamillscheg, *Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache*, Гейдельберг, 1928; S. Pușcariu, *Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache*, Гейдельберг, 1905; G. Pascau, *Dictionnaire étymologique macédonomain*, Яссы, 1925; „Dizciunari Rumantsch-Grischum“ publichà da la Società Retorumanscha, Койра, 1939 и сл.

Для итальянского языка нет ничего, что можно было бы рекомендовать. Устарелым и схематичным является работа Zambaldi, *Vocabolario etimologico italiano*, Читта ди Кастелла, 1889, изд. 2; *ibid.*, 1913; этимологии в „Vocabolario della lingua italiana“ Итальянской академии представлены в единственном вышедшем томе (Рим, 1941), заканчивающемся буквой *C*, без библиографических ссылок; другие так называемые этимологические словари дают не имеющую никакого значения мешанину. Можно пользоваться только недавно появившимися точными, хотя и схематичными сведениями, содержащимися у G. Carruccini e B. Migliorini, *Vocabolario della lingua italiana*, Турин, 1945; полезное добавление дает указатель слов у R. A. Hall, *Bibliography of Italian Linguistics*, Балтимора, 1941.

¹ См. H. Hübschmann, *Persische Studien*, Страсбург, 1895.

и) Кельтские языки:

W. Stokes, Wortschatz der keltischen Spracheinheit, Геттинген, 1894 (составляет т. II „Vergleichendes Wörterbuch“, изд. 4, A. Fick); кроме того, см. указатели к H. Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, Геттинген, 1909—1913 (сокращенным изложением которого является H. Lewis — H. Pedersen, A Concise Comparative Celtic Grammar, Геттинген, 1937¹) и к R. Thurneysen, Handbuch des Altirischen.

к) Германские языки:

H. Falk — A. Tögr, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, Геттинген, 1909 (составляет т. III „Vergleichendes Wörterbuch“, изд. 4, A. Fick); S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, изд. 3, Лейден, 1939; F. Kluge — A. Götze, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, изд. 11, Берлин и Лейпциг, 1934; „Trübner's deutsches Wörterbuch“ (изд. A. Götze), Берлин, 1936 и сл.²; J. Frank — N. v. Wijk, Etymologisch Woordenboek der Nederlandse Taal, Гаага, 1910; F. Holthausen, Altenglisches etymologisches Wörterbuch, Гейдельберг, 1934; W. W. Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Оксфорд, 1928; H. Falk — A. Tögr, Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch, Гейдельберг, 1910—1911; E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Лунд, 1922.

л) Балтийские языки:

R. Trautmann, Baltisch-Slavisches Wörterbuch, Геттинген, 1923; A. Brückner, Die slavischen Fremdwörter in Litauischen, Веймар, 1887; E. Bergneker, Die preussische Sprache, Страсбург, 1896, и R. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Геттинген, 1910 — оба с этимологическим толкованием древней прусской лексики.

м) Славянские языки:

F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen, Вена, 1886; E. Bergneker, Slavisches Etymologisches Wörterbuch, Гейдельберг, 1908 и сл. (только т. I и вып. 1 т. II, в целом *a — morū*); А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, Москва, 1910—1916 (только *a — sulēgā*)³; [M. Vasmér, Russisches etymologisches Wörterbuch, Гейдельберг, 1950]; A. Brückner, Slownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927; J. Holub, Stručný slovník etimologický jazyka československého, изд. 2, 1937; A. Stender — Petersen, Slavisch-germanische Lehnwortkunde, Гетеборг, 1927.

н) Токарский язык:

A. J. van Windeken, Lexique étymologique des dialectes tokhariens, 1941.

о) Хеттский язык:

A. Juret, Vocabulaire étymologique de la langue hittite, Лимож, 1942⁴.

¹ Г. Льюис и Х. Педерсен, Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, русск. перев., Москва, 1954.—Прим. ред.

² См., кроме того, H. Hirt, Etymologie der neuhighdeutschen Sprache, изд. 2, Монако, 1921.

³ В 1949 г. была опубликована последняя часть словаря (*тело — ящур*), „Труды Института русского языка“, т. I, изд. АН ССР.—Прим. ред.

⁴ См. также E. H. Sturtevant, A comparative grammar of the Hittite language, Филадельфия, 1933.

п) Представляет также интерес K. L o k o t s c h, *Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs*, Гейдельберг, 1927.

Многие из этих словарей снабжены указателями иноязычных слов, рассматриваемых в данном языке. Этимологические словари языковых семей вообще содержат указатели слов различных языков, принадлежащих к данной семье, так что из этих указателей, равно как из различных лингвистических журналов и других работ, можно извлечь ценные сведения. Например, в связи с плачевным состоянием, в котором находится итальянская этимология, необходимо обращаться по этим вопросам к указателю в „REW“.

Глава III. О теории заимствований см., помимо обычных пособий, мою работу „Sull'imprestito linguistico“ („Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, sez. Lettere“, т. LXXIII, 1939—1940), перепечатанную в книге „Linguistica generale“ и т. д. (см. выше, в гл. II).

Глава IV. См. Matteo Bartoli—Giuseppe Vidossi, *Lineamenti di linguistica spaziale*, Милан, 1943; M. Bartoli, *Introduzione alla neolinguistica*, Женева, 1925; V. Pisani, *Geolinguistica e indeuropeo* („Memorie dell'Accademia Naz. dei Lincei“, серия VI, т. IX, вып. II).

Глава V. Вопросы, относящиеся к фонетическим законам, освещены, между прочим, в моей работе „Geolinguistica e indeuropeo“, приведенной в гл. IV.

Глава VII. E. F ö s t e r m a n n, *Ueber deutsche Volksetymologie* („KZ“, стр. 1 и сл.); *Ueber deutsche Volksetymologie* („KZ“, XXIII, стр. 375 и сл.); K. G. A n d r e s e n, *Ueber deutsche Volksetymologie*, изд. 2, Хейльбронн, 1877; W e i s e, *Volksetymologische Studien* („BB“, V, стр. 68 и сл., и XII, стр. 154 и сл.); D o s s i u s, *Alt- und neugriechische Volksetymologien* („BB“, VI, стр. 230 и сл.); F r a e n k e l, *Die baltische Sprachwissenschaft in den Jahren 1938—1940* („Annales Accademiae Scientiarum Fennicae“, BLI, 1, 1941, стр. 67); G. A l e s s i o, *Deformazioni ed etimologia popolare nei dialetti dell'Italia meridionale* („Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, sez. Lettere“, т. LXXI, Милан, 1930). См. также Linda Bertolotti, *L'etimologia popolare in latino e nelle lingue romane* (докторская диссертация, представленная в Миланский государственный университет в 1943 г.).

Глава VIII. Помимо хорошей статьи B. T e g g a c i n i, *Semantica* („Enciclopedia Italiana“, XXXI, стр. 334 и сл. с библиографией), укажем M. B r é a l, *Essai de Sémantique*, изд. 5, Париж, 1911, и обширный труд G. S t e r n, *Meaning and change of meaning* („Göteborg Högskolas Aarsskrift“, XXXVIII, 1932, стр. 1 и сл.).

Другие работы и статьи приведены в ходе изложения настоящей работы, и вторично упоминать о них здесь излишне.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Блох — Вартбург — O. Bloch — W. von Wartburg, *Dictionnaire étymologique de la langue française*, Париж, 1932.
- Бругман — K. Brugmann, *Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*, изд. 2, Страсбург, 1897—1916.
- Вальде — Гофман — A. Walde, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, изд. 3, von J. B. Hoffmann, Гейдельберг, 1938.
- Вальде — Покорный — A. Walde — J. Pokorny, *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen*, Берлин и Лейпциг, 1927—1932.
- Клюге — F. Kluge — A. Götze, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, изд. 11, Берлин и Лейпциг, 1934.
- Курциус — G. Curtius, — *Grundzüge der Griechischen Etymologie*, изд. 5, Лейпциг, 1879.
- Локотш — K. Lokotsch, *Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs*, Гейдельберг, 1927.
- Штейнталль — H. Steinthal, *Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern*, Берлин, 1863.
- Эрну — Меille — A. Ernout et A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine — Histoire des mots*, изд. 2, Париж, 1935.
- „ALL“ — „Archiv für lateinische Lexikographie“.
- „Annali Pisa“ — „Annali della Scuola Normale di Pisa“, отдел литературы, истории и философии.
- „Arch. Glott“. — „Archivio Glottologico Italiano“.
- „BB“ — „Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen“.
- CGL — *Corpus Glossariorum Latinorum*, Лейпциг, 1888 и сл.
- Festschrift Jaberg — *Festschrift Karl Jaberg, Zeitschrift für romanische Philologie*, LVII, стр. 129—520, Галле/Заале, 1937.
- „Geoling.“ — V. Pisani, *Geolinguistica e indeuropeo, Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei*, серия VI, т. IX, вып. 2, Рим, 1940.
- Hes. — *Hesychii Lexicon*.
- „IF“ — „Indogermanische Forschungen“.
- „KZ“ — „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung“.
- „REW“ — W. Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, изд. 2, Гейдельберг, 1935.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

авест.— авестийский
аквиланск.— аквиланский
алб.— албанский
америк.— американский
англ.— английский
араб.— арабский
арм.— армянский
ассир.— ассирийский
астиджанск.— астиджанский
аттич.— аттический
балт.— балтийский
болг.— болгарский
вельт.— вельтский
галл.— галльский
герм.— германский
голл.— голландский
гомер.— гомеровский
гот.— готский
гр.— греческий
диал.— диалектный
др.— древний
др.-в.-нем.— древневерхненемец-
кий
евр.— еврейский
и.-е.— индоевропейский
иллир.— иллирийский
ионийск.— ионийский
ирл.— ирландский
исп.— испанский
ит.— итальянский
калабр.— калабрийский
каталан.— каталанский
кельт.— кельтский
лангобард.— лангобардский
лат.— латинский
латышск.— латышский
лит.— литовский

логуд.— логудорский
льеж.— льежский
макед.— македонский
миланск.— миланский
нем.— немецкий
оск.— оскский
перс.— персидский
польск.— польский
португ.— португальский
пренест.— пренестийский
прованс.— провансальский
римск.— римский
рум.— румынский
русск.— русский
сакс.— саксонский
сард.— сардинский
сев.— северный
семит.— семитский
серб.— сербский
сиракузск.— сиракузский
сицил.— сицилийский
скр.— санскритский
слав.— славянский
уэльск.— уэльский
финик.— финикийский
фр.— французский
францск.— францкий
фриг.— фригийский
хорв.— хорватский
чешск.— чешский
шумер.— шумерский
эмилианск.— эмилианский
энгаф.— энгафинский
эолийск.— эолийский
этрусс.— этруссский
эфиоп.— эфиопский

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аббревиатуры звуковые и слоговые 111, прим.
Аналогия фонетическая 87, прим.
Апофония 102, прим.
Ассимиляция 86
Атласы лингвистические 76
Аффиксы 99
Внутренняя форма 17
Гаплология 86
Диалекты, ограничение и определение 49, 79
Диссимиляция 86
Заимствования 56; хроология заимствования 91; заимствования из греческого языка в латинском 91
Звукоподражание 109
Изоглоссы 47, 76
Именные сложения 120
Индийские грамматисты 98
Индоевропейский язык 53; отношения между индоевропейским языком и другими языковыми семьями 53
Инфикссы 99
Ипостасы 127
Кальки 67
Катахрезы 146
Контаминация 139
Корневые детерминативы 103
Корни 39, 112; последующие по отношению к словам 115; формальный разрыв между корнем и производным словом 111; вторичное сближение с корнем 116; возникновение новых корней 108
„Кратил“ 10
Латинские образования из эолийского языка 31
Лингвистическая география 76
Метатеза 86
Метафора 148
Метонимия 148
Морфология 97 и сл.
Номинативный тип слова 8
Образования по аналогии 106
Обратное образование 126
Окончания 99
Описательный тип слов 8
Отрицательные отыменные образования 165
Патология звуков 24, 26
Переход согласных:
 германский 64
 вторичный или немецкий 77
Префиксы затемненные 104
Преформанты 104
Протетическое *i* перед *s* *_impura* 78
Противоположные образования 164
Рифма, рифмующие слова и корни 138
Семантика 141 и сл.
Семантические поля 160

Семантический закон 150
Символизм фонетический 95, 110
Синекдоха 148
Слово 43
Сокращение слова 94 и прим. 2
Средиземноморские языки 65
Сточки 20, 21, 33, 95
Суффиксы 39, 99; во второй части сложных слов 125;
 в греческом: *θρο*, *τρο*, *σθλο* 96,
 υθω 60
 в латинском: *cīnīo* 107
 īco 125
 issā 56
 lī > rī 86
 в итальянском: *agessio* 108
 mente 125
 в немецком: *heit* 125
 tum 125
 в английском: *dom* 125
 hood 125

Табу 139

Терминология грамматическая:
 θέσει | 20, прим. 1, 25, 33
 <θρθότης> 10 и сл., 29
 παράγειν, παράγωγον 25
 πρώτα, οὐδέματα 13, 18, 19, 20,
 24
 πρωτότοπον 25
 φύσει 11, 20 и прим. 1, 33

Усечение начала слова 104

Фонетика:

 в заимствованных словах 92
 в топонимике и антропонимике 93; см. также фонетические законы

Фонетические законы 84, 150
 в греческом языке: *αι*, *օι > η*,
 υ 77

в латинском языке: *и* и *ő* 23,
 прим. 2
oi > ī, oe 88
глухие аспираты 93
c = k > č, c 91
s > r 88
вульг.-лат. *gu* из герм. *w* 92
в итальянском: соноризация ин-
тервокального глухого 89
во французском: *oi > e* и *ua* 89
в германском: *f* из *qu* 87, прим.
см. также: Гаплология, Ассими-
ляция, Метатеза, Протетиче-
ские звуки, Переход соглас-
ных

Элементарные образования 110, прим. 3

Эллипсис 149

Этимология:
 определение 70

цели 33, 39

происхождение термина 10

двойная этимология 118

„корневые“ этимологии 113

народная этимология 9, 117,
 128, 131

Этруссское посредничество между
греческим и латинским языками
66

Язык 43; или? 18; возможность
определения, образования 79 и
с.;

языки-основы 55

Языковые семьи 50

declinatum, declinare 25, 27

dhāman- (скр.) 125

primigenia verba 27, 32

s подвижное 104

УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ

Санскритские

áçman- 142, прим. 3
áçupatvan- 122
áçus 122
Agni 9
ágram 123
ahám 91
áhis 139
ásthī 104
cárman- 102
cákṣus - 165
dhavas 127
diçáti 105
dínam 122
diśis 105
ghōṣa- 165
kam cakamé 104
kā'mas 104
karṇás, kárṇas 166
karparas 103
kártati 102
kṛ'mis 139
kṛṇā'ti 102
kṛpāṇas 103
kṛtis 102
kṣatriyas 125
mánaś- 119
medhā' 119
mīdhám 125
pácámi 86
páñca 86
sthágati 104
taralás 103
trásati 103
vánam 113
vánati, vanóti 113
vánas 113
váñchā, vā'ñchati 113

vanís, vaniyáti 113
vidhávā 127

Авестийские

aγrō 123
ādistiš 105
manah- 119
Mazdāo 119

Персидские

dr. gauša 165
nārāng 103

Тохарские

käntwā- 139

Армянские

ateam 119
gini 64
gon 113
k'ert'em 102
orb 132
oyn 113

Фригийские

ἀλαρνεῖν 104

Греческие

'Αγαμέμνων 13
αἰσχρόν 13
ἀμιθρεῖν 86
ἄμυξε 138
ἄμπελος 66

- ἀμφίπολος 123
 ἄνθρωπος 13
 ἀπιος 66
 Ἀστυάναξ 12
 Ἀτρεύς 13
 Ἀφροδίτη 134, 143, прим.
 βουκολεῖν 146
 γέμω 139, прим. 1
 δαίμων 13
 δάκρυ, δάκρυма 63
 δείκνυμι 39, 105
 δηλέσσωμαι 82
 δίκαιογ 13
 ίγώ 91
 Ἐκτωρ 12
 ἐσπερος 139
 εῦω 36
 Ιλιс 139
 ζεῦγος 127
 ζῆν 10
 ἥλιος 13
 ἥρωс 18
 θεός 9, 13
 θρέπτρα 96
 θωμός 125
 λατροу 96
 θπпоc 39
 κάνναбиc 64
 κάпηлoс 66
 κάпpoс 104
 κeíрo 102
 κeíрma 102
 Кeлънaиc 110
 Клеoммiс 123
 κóмiстpoн 96
 κpатжoс 86
 κpопtiон 103
 λaоc 143, прим.
 λύтpoу 96
 μaлáкъ 66
 μéнос 119
 μήνυtpoн 96
 μíнθи 66
 μiсthóс 125
 μuстжriа 29, прим. 3
 μóтжi 129
 γaиsтhлoн 96
 γeрdы 68
 'О:uссeнc 9
 Оiдíпouс 143, прим.
 oиxодoмeиn 146
 oиnoс 64
 δλbтioс 10
 ὁμφά 147
- ὁρφανός 132
 ὁστέον 104
 новогр. ойко 160
 ὅψις 139
 ὅψις 165
 πaллaкή 66
 πxтhр 29
 πéнte 86
 πéssω, πéttω 83
 ρaхlézиn 166
 ρéгжyнuмi 138
 ρóдoн 66
 σapхiзeиn 166
 сeисoпuгiс 130
 сeмiдaлiс 66
 σaкhпtрoн 96
 σtéгeи, σtéгoс 104
 σuкoн 66
 тaвoс 66
 тéгoс 104
 тóмoс 166
 тpéеi 103
 тpémei 103
 тpitoгéneia 143, прим.
 тpíтra 96
 їлжn 109
 фuлaкóс 124
 фaннj 20, прим. 2
 їлaiк 62
 Xήр 83
 Xoрdή 74 и прим. 3
 фáмaфoс 138
 фuлhж 13
 фuкúпteroс 122
 фuкúс 122
 ѕf 124

Албанские

bretëk, bretkosë 110, прим.
venë 64

Оскские

cerssnais 103

Латинские

abundare, abundus 126
 accipiter 122
 acreduла 137
 actus 29
 acupedius 122
 administer 126

- adulter, adulterare 126
 cedificare 146
 aer 57
 cерамен 83
 cерugo 83
 cестимо 152
 Agrippa 123
 ales 125
 altitonans 67
 altivolantes 67
 amare 104
 amburo 120
 amicus 115
 amp(h)ora 61, 62
 ampla, amplus 106
 amurca 66
 anceps 122
 ancora 61
 ancillus, ancilla 123
 anguis 139
 animadverto 108
 ansa 106
 antiquos 124
 aper 104
 aperio 120
 architectus 61
 arquites 125
 atrox 124
 auca 126
 augustus 114, прим. 2
 aulēum, aulēa 68
 aureax 123
 aurichalcum 133
 auricula 162
 auriga 123
 bal (i)neum 61
 balteus 61
 bellum 23
 bibit 86
 bracchium 56
 bubulcus 124
 bucerda 124
 bulbus 61
 bustum 120
 cœles 125
 calamitas 9
 calx 62
 cannabis 64
 capillus 23
 capulus 105
 caro 102
 carpo 103
 catamitus 66
 caupo 66
- cena 103
 cetus 61
 chorda 74, прим. 2
 cicum 61
 circulus 134
 comburo 120
 comes 125
 compassio 69
 conscientia 69
 cooperio 120
 copula 105
 coquo 84, 86
 coreulus 137
 corium 102
 cortex 102
 cortina 68
 costa 104
 cratera 61
 crus 22
 crux 22
 cuculus, cuculare 109
 cumulus 138
 cuniculus 61
 cuntellum 86
 curtus 102
 cycnus 61
 dacruma 62
 decipula 106, прим. 1
 deleo 82
 dico 39, 105
 discipulus 104
 disco 104
 diurnus 165, прим. 1
 duracinus 67
 ego, mihi 25
 emo 138
 epulonus 127
 eques 125
 equos 39
 Euandrus 143, прим.
 excetra 66
 excipula 106, прим. 1
 exemplum 106
 exerceo, exercitus 101
 experior 131
 extramuraneus 127
 facteon 165, прим. 1
 ferox 124
 fertus 126
 ficutum 150
 ficedula 135
 ficus 66
 fides 30
 fluentum 127

- focale 82
 fœdus 23
 forcipes, forfices, forpices 121
 formucapes 121
 frango 138
 furunculus 152
 gallicinum 107
 gemo 139, прим. 1
 generalis, generosus 101
 genius, genitor, genitus, geno, genus 100
 germanus 150
 gigno 100
 gloria 87
 gnatus 100
 her, (h)ericius 83
 hominium 155
 ignosco 116
 iterare 132
 iugerum 127
 lacertus 151, прим.
 lacruma 63
 lanterna 66
 latrocinium 107
 lautumiae 61
 lenocinium 107
 liber 70
 lingua 139
 linteus 83
 longanimus 67
 пренест. losna 112
 lucta 126
 lucus 23
 luna 112
 machina 61, 90
 magnanimus 67
 malva 66
 manipulus 105
 mantisa 61
 menta 66
 miles 125
 ministrare 126
 misericors, misericordia 73
 monedula, monerula 136
 morosus 132
 motacilla 129
 mundus 68
 muscipula 105
 musculus 151, прим.
 mutuus 34
 nidus 39
 nitedula 137
 nocentia 126
 nos 24
 Nundina, nundinum, nundinae 122
 nux 114, прим. 3
 odium 104, 119
 officina, officium 121
 oleum, oliva 65, 91
 operarius, opificina 83
 operio 120
 oppidum 27, 30
 orata 141
 orbus 132
 ordo 34
 oria 123
 orichalcum 133
 origa 123
 os, ossis 104
 ostium 83
 pœlex 66
 pœnitentia 84
 pœnula 61
 paganus 152
 palmes 125
 pampinus 66
 panaricum 134
 pastoricus 108
 pavo 66
 pedes 125
 pelegrinus 86
 penna 122
 periculum 131
 peritus 131
 pilare 166
 pinna 82
 pirus 66
 piscinæ 23
 platea 61, 168
 populari, populus 165
 porfices 121
 prœceps 122
 prœcipitum 122, 127, прим.
 prœda 26
 prœdicare 152
 prœmium 26
 proconsul 127
 progenies 100
 pronepos 164
 proportio 127
 Proserpina 67
 pudicus 116, прим. 1
 pugna, pugnare 126, 141
 pulcer 108, прим. 2
 pulcher 93
 puteus 23
 quercus 86
 querquedula, querquetula 136—137

quinque	86	triumpus	66
rames	125	triumvir	127
ratiocinium	107	truncus	126
recens	68	tu, tibi	25
repedare	112	tubicinum	107
repudium	112	ulula, ululare,	109
retare	166	urbs	23
retundus	104	uro	36
rosa	66	vagus	126
sanguinare	166	vallum	29
satelles	125	vaticinium	107
scortum	102	vello	34
scutula	126	velox	124
secare	130	veneo	108
securis	130	Venus	113
sedulus	127	vesper	139
septentrio	127	vermis	139
simila	66	via	24, 27
similis	34	vicus	27
simplicus, simplex и т. д.	106	viduus, vidua	126, 127
simpulum	106, прим. 2	vietus	24
sodes	133	vimen	24
solox	124	vinculum	24
solvo	91	vinea, vinetum	26
sona	61	vinum	64
spatula	163	vis	24
spelunca	66	vitis	24
spoliare	166	vos	24
sponsus	126		
sporta	66		
stipare, stipes	106		
stips	106		
stipula	106		
suaviloquens	67		
subulcus	124		
sucerda	124		
sufes	61		
suffocare	82		
suovetaurilia	120, прим.		
supernus	127		
taeda	66		
tappula, Tappulus	106		
taxare „намекать“ и „оценивать“	82		
taxo,-onis	82		
taxus	82		
tego	104		
tibicen	107, 123		
tibicinium	107		
tinnio, tintinnio, tintinnabulum	109		
tirocinium	107		
toga	104		
tremit	103		
trepidus	103		
tripodium, tripodare	112		

Итальянские

abboffare, сард. abbuffare	110
abbottare	110
accostarsi	152
adamitico	142, прим. 3
adorare	83
allettarsi	127
allogare	81
alloggiare	81
appoggiare	152
arancia	104
пармск. ardintsär	68
arrivare	152
arruspato	110
attraccare	140
bandiera	32, прим. 2
basto	32, прим. 2
bocca	163
boccale	116, 119
bosco	32, прим. 2
bottaio	7
brina	87
buffa, buffare	110
buffo	110

bufone 110
calzolaio 7
canapè, canopè 34, 42
cànapè 34
canfora 35
cannocchiale 72
cannone 34, 40, 72
carnevale 117
carta 145
casa 145
cavalcare 146
cercare 164
coditremola 130
colpo 58
coperta, coprire 120
coppa 163
corda 74
cuoccio 83
cutretta, cutrettola 130
declassare 58
deflazione 165
deragliare 57
devoto 152
donna 151
fantesca 69
fare la barba 166
fegato 150
ferraguto 148
ferrovia 67
 forbice 121
foruncolo 152
fucina 121
корсиканск. fùrmige 121
аквиланск. gagiu 63
gamba 163
garnierite 8
gas 111, прим.
generale 149
gioia 63
астиджанск. goz 63
gracchia 136, прим. 3
gru 154
guadagnare 92
guadagno 32, прим. 2
guanto 93
guardare 35, 93
guatttero 92
imparare 165
ingegnere 63
innamorare 32, прим. 2
intavolare 127
логуд. korda, kordule 75
lattone 104
lenza_83

linciare 146
loggia 81
manducare, миланск. mandegar 63
mangiare 63
manicare 63
martire 151
massa 81
massimo 81
mensa 41
mucca 140
mulacchia 136, прим. 3
mussolo 148
oblazione 81
obolo 81
oca 126
occhiale 72
odorare 165
omaggio 155
opera, operaio 83
oratore 83
orecchia 163
organizzare 58
oscillare 83
ottone 104
pacchiano 110
pacchiare, pacchione 110
pacifista 86
padule 86
palla 144
panereccio 134
patereccio 134
peracottara 127
perdere 109
pesare 111
pianta 63
piatto 68
piazza 63, 167
pieve 57, 63
pigione 83
pignone 82
plebe 57, 63
ponte 68
posare 116, 131
pozzanghera 140
prigione 83
pusigno 111, прим.
quaderno 148
qualunquista 125
rame 83
riccio 83
ritondo 104
romana 153
rubinetto 153
ruggine 83

scudella 134
sodomita 142, прим. 3
soffocare 82
spalla 163
stagione 138
stimare 152
strada 35
strada ferrata 67
tartufo 148
telescopio 72
terremoto 9
territoriale 149
teschio 163
testa 163
to' 109
tondo 104
tramontare 147
trappola 106, прим. 1
tremuoto 9
trivello 140
trombaio 7
uopo 83
uscio 83
vendere 108
vestito felius 133
vigliacco 132
vista 165
zig-zag 110, прим. 3

Французские

aimer 32
août 114
bas-bleu 69
bigey 160
bureau 149
carnassier 57
carogne 63
др. cachevel 163
chantepleur 153, прим. 2
charogne 63
cuis 83
écuelle 134
errer 132
feu 32
gouillon 117
grifū 153
guipellan, guipillon, guipon 117
habiller 133
hoche-queue 130
hommage 155
jambe 164
libre-penseur 69
maréchal 32

nager 161
plonger 152
poser 116, 131
rincer 63
robinet 153
rouman 153
saison 138
traire 160
trappe 106, прим. 1
veilleuse, veillote 128
vendre, vente 109
vignoble 135
vilain 133

Испанские

cordilla 75
hablar 164
hermano 150
naranja 104
quejar 164
romman(o) 153
vagamundo 134

Других романских языков

прованс. homenatge 155
португ. irmão 150
македо-рум. cucurbeta 163

Кельтские

(др.-ирландск. не указаны)
caille 103
cerbaim 103
cland 92
cnū 114, прим. 3
Cothraige 92
cruim 139
fescor 139
fín 65, прим. 1
fine 113
уэльск. gwēn 113
галил. Hercynia 86
qrimitir, crumthir 92
scaraim 102

Готские (не указаны)

Древне-северные

др.-сев. angi 147
arbja 132
armaháirts, armaháirtei, armaha-
irtja 73

fidwor 87, прим.
fimf 87, прим.
hatis 104
др.-сев. hnot 114, прим. 3
kapillon 166
nima 139
niutan 114, прим. 3
tuggo 139
др.-сев. фекja 104
wein 65, прим. 1
winja 113
winnan 113
wulfs 87, прим.

Немецкие

Ausdruck 69
Ausnahme 69
Blaustrumpf 69
Blumenkohl 69
decken 104
Durchmesser 69
Eigename 69
др.-в.-нем. eimbar, einbar 135
Fall 69
Flugblatt 69
Freidenker 69
geniessen 114, прим. 3
Gewissen 69
Gleichgewicht 69
Grossmutter 69
Grossvater 69
Hafer, др.-в.-нем.
 habaro, др.-сакс.
 havoro 87, прим.
Hahn 153
др.-в.-нем. hanaf 64
Handstreich 69
Heimweh 69
Herzog 69
Hintergrund 164
kopfen 165
Keller 91
Kelch 91
Kerker 91
Kicher 91
Lebenslauf 69
Manoli 159
Maschine 39
Meerbusen 69
Menschenfresser 69
Metz 94
Mitleid 69
Nest 39

Nuss 114, прим. 3
Oberfläche 70
Pech 91
riechen 165
Romische 153
ср.-в.-нем. Scherzel 103
Schwertel 70
др.-в.-нем. scirbi 103
Selbstmord 70
др.-в.-нем. skurp(f)en 103
др.-в.-нем. steft 106
ср.-в.-нем. stivel 106
Tolpel 70
Umstand, Umstände machen
 70
Vordergrund 164
vornehm 70
Vorsicht 70
Weinberg 135
Wohltat 70
др.-в.-нем. wunnia 113
др.-в.-нем. wunsc 113
др.-в.-нем. worm 139
Zeder 91
Zelle 91
Zentner 91
Zettel 91
Zingel 91
Zins 92
Zirkel 92
Zuber 135
Zwieback 70

Английские

bridge 68
cock 153
англо-сакс. dōm 125
to dust 166
to head 166
англо-сакс. hœnep 64
англо-сакс. hnutu 114, прим. 3
kodak 111, прим.
little 95
to lynch 146
much 95
nifle 140
okey 111, прим.
англо-сакс. scearp 103
англо-сакс. sceort 103
sharp 103
short 103
weak 95

Литовские (не указаны)

Латышские и древнерусские

āklas 166
anglis 139
īmu 139
др.-prus. īnsuwis 139
kerpiū 103
kertū 103
kirmis 139
klūkis 96
kluikša 96
латышск. kruiklis 96
mosuotī 109
naudā 114, прим. 3
Perkūnas 86
латышск. skarba 103
skerdžiu 103
skiriu 102
stē'gu 104
stlpe 106
stōgas 104
vākaras 139
латышск. vāžu 165
veriū, vērti 120
vōžiu 165
vynas 65, прим. 1

Славянские

(древне-болгарские не указаны)

dīnī 122
językū 139
rusck. kora 102
русск. короткий 103
kostī 104
kratkū 103
majati 109
русск. max, махнуть, max-max
109
nuditī sę 114, прим. 3
ostegū 104
pekā 84, 86
русск. площадь 167
sekurya 130
русск. шкура 102
др.-русск. веरмис 139
večeru 139
vino 65, прим. 1

Неиндоевропейские

шумер. bahar 115
ассир. inu 65
евр. jajin 65
араб. nāranj 104
семит. pahar 115
араб. rūmmān 153
евр. šegōr 130
ассир. ūkurru 130
араб.-эфиоп. wain 65

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
I. История и понятие этимологии	7
II. Языки и их взаимоотношения. Понятие „языкового наследия“	43
III. Заемствование. Определение „этимологии“	56
IV. Слово во времени и в пространстве. Лингвистическая география	72
V. Фонетические изменения	81
VI. Морфологические системы	97
VII. Народная этимология и смежные явления	128
VIII. Семантика	141
Приложение	167
Библиография	171
Условные обозначения	175
Список сокращений	176
Предметный указатель	177
Указатель слов	179

В. Пизани Э Т И М О Л О Г И Я

Редактор В. В. ФРЯЗИНОВ.

Технический редактор И. Я. Думбре. Корректор Н. А. Славицкая.

Сдано в производство 10/IV 1956 г. Подписано к печати 25/VIII 1956 г.
Бумага 84×108^{1/32}, —2,9 бум. л. 9,3 печ. л.
Уч.-изд. л. 10,3. Изд. № 13/2822. Цена 8 р. 20 к. Зак. 1638.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической
промышленности. Набрано в Первой Образцовой типографии
имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Отпечатано в типографии МРП СССР.
Москва, Новая площадь, 3/4. Зак. 1608.